

НЕСТОР МАХНО



Василий
Талоданов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Василий Ярославович Голованов
Нестор Махно
Серия «Жизнь замечательных людей»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170518
Нестор Махно: Молодая гвардия; Москва; 2008
ISBN 978-5-235-03141-8

Аннотация

Личность одного из лидеров революционного анархизма Нестора Махно (1888–1934) и сегодня вызывает большой интерес в обществе. Обнародованные после долгого запрета документы позволяют увидеть в нем не анекдотическую фигуру, созданную советским агитпропом, а незаурядного полководца и организатора, пытавшегося воплотить на родной Украине идеалы свободы и справедливости. В огне Гражданской войны отряды Махно сражались против белых и красных, интервентов и петлюровцев. В неравной борьбе они были разбиты, их «батька» закончил жизнь в эмиграции, но его идеи не погибли. В последние годы появляется все больше трудов, авторы которых исследуют не только яркую личность Махно, но и его теорию и практику самоорганизации общества в противовес подавляющей власти государства. Книга писателя Василия Голованова – одно из лучших исследований феномена Махно, сочетающее строгую документальность с художественным мастерством изложения.

Содержание

От автора	4
Чемодан тамбовских булок	7
По ту сторону мифов	9
Его университеты	16
Первые шаги	28
Зубки прорезываются	38
Москва	43
Восстание	49
Проклятый город	59
Комбриг Махно	66
Фронт трескается	78
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Василий Ярославович Голованов

Нестор Махно

От автора

Я хотел бы сказать несколько слов об этой книге. В годы юности, когда я порой ощущал себя мухой, завязшей в смоле, — из-за невыносимой неподвижности окружающего мира, словно бы остановившегося времени, словно бы омертвевшего языка и навеки застывшего казарменного пейзажа за окном, — в воображении моем стал появляться образ. Это был образ отряда, нарушающего мертвенный покой времени, разбивающего его, взламывающего его огненной энергией взрыва. Я видел так: блесит река. Разбрызгивая сверкающую на солнце воду, ее переходят кони. Люди верхами. Широкие спины, потные, вылинявшие гимнастерки, ремни портупей, сабли, винтовки. С грохотом скатываясь с кручи, к реке спускаются тачанки. Одновременно голова колонны выходит на противоположный берег. Виден одинокий всадник, над головой которого полощется черное знамя.

Это отряд Махно.

Временами, особенно в тех случаях, когда из привычного мне мира я попадал в совершенно иной мир, соприкасающийся с отправлениями Власти, — скажем, после очередного визита в начальственный кабинет, после какого-нибудь тягостного, бессмысленного, лживого разговора, — я понимал, что хотел бы оказаться на одной из тачанок отряда. Ложь Системы была слишком самоуверенной, слишком наглой. Зло ее казалось абсолютным и незыблемым, поэтому бунт против нее казался естественным и, возможно, единственным способом сохранить самоуважение и чувство собственного достоинства. По сравнению с заплесневелой бумажной жизнью Системы, жизнь переходящего реку отряда казалась мне чрезвычайно подлинной, подлиннее окружающей бредовой реальности — хотя нас с отрядом разделяло непреодолимое время. Я чувствовал: эти люди полны силы и отваги. В их руках настоящее оружие. А главное — в них есть решимость, перед которой, я знал, Система не устояла бы. Ее надменные чиновники валялись бы в пыли у конских копыт, лживо вымаливая прощение, их трусливые, жестокие стражи разбежались бы, их наглые слуги предали бы их. Это было бы торжество справедливости. Кратковременное, быть может, но торжество. Собственно говоря, торжество не может и не должно слишком затягиваться.

Я честен с читателем и потому открыто исповедуюсь в юношеском чувстве, из которого родилась эта книга. Тогда я почти ничего не знал о Махно. Интерес к нему был, пожалуй, не более чем символическим протестом против мертвечины тех лет, которые верно, в общем-то, поименованы периодом застоя. Но, как всякий интерес, он по крупицам притягивал к себе факты. Постепенно их стало много, возникло желание их систематизировать. Мне захотелось рассказать самому себе, кем же, собственно, был Махно. На систематизацию и восполнение пробелов в знаниях ушло лет пять. На раздобывание редких сведений и шлифовку не вполне чистых от налипшей грязи истории фактов — еще пять. Так появилась эта книга.

За эти годы случилось слишком многое, чтобы образ человека, стоящего в центре повествования, не претерпел изменений. Время утратило неподвижность и понеслось вперед, порой даже слишком ходко. Мы стали свидетелями маленьких революций и немалых подлостей, зрителями и современниками крушения грандиозной коммунистической Системы и создания на ее месте новой Системы.

Это позволило многое понять. Поэтому то, что я написал, — не только биография Нестора Махно. Это книга о мистике истории. Об обреченности революционера-романтика,

идушего на любые жертвы за народное дело. Поначалу этот образ казался мне привлекательным. Потом выяснилось, что это – образ убийцы, и с этим пришлось смириться, ибо революция – кровавое и страшное дело, в котором меньше всего значат что-либо *благие намерения*. Все, кто в 1917–1918 годах взял в руки оружие с решимостью пустить его в ход, делали это с сознанием своей исключительной правоты, во благо Родины, во имя человека. Война не оставила камня на камне от этого пафоса. Романтики оказывались кровавыми злодеями, патриоты России – ее предателями, добро и зло слились в какой-то невероятный сплав, который и не снился средневековым алхимикам.

Старая Россия, Россия, о которой мы порой бесполезно жалеем, в прежнем своем виде гигантской империи, простирающейся от Польши до Дальнего Востока, не могла, конечно, сохраниться: в ней много было ценного и живого (что, к несчастью, погибло), много гнилого и мертвого (что как раз не выгорело, а уцелело) и слишком много оставалось неизжитых обид, слишком много сосуществовало культур и времен (от XV века до XX), чтобы быть спокойным за ее существование. Вступив в мировую войну, страна вошла в поле такого жуткого напряжения, что не выдержала и разломилась. Я убежден, что если бы Россия не вступила в войну, не заразилась окопным ожесточением, все изменения совершились бы иначе. Но у ожесточения есть своя жуткая логика. Оно разрушило империю. Потом революция истребила уничтожителей империи. А на следующем витке – и уничтожителей уничтожителей.

Иногда кажется странным, что столетние поиски «правды» в России завершились – после взрыва революции – колоссальной *ложью* большевизма. Крушение которого, в свою очередь, вызвало к жизни новую ложь. Я сам был свидетелем трехдневной революции в августе 1991 года, когда в Москве – в очередной уже раз – возводились баррикады. В какой-то ничтожной степени я был даже участником этих событий. Я знаю, что людей, которые строили баррикады, объединяли святые чувства – вернее, одно сложное чувство, которое очень трудно понять, не пережив его: чувство свободы, достоинства, обретенной правды. Это были дни острейшего переживания подлинности бытия. Отряд все-таки перешел сверкающую солнцем реку...

Но этими чувствами воспользовались совсем другие люди. Так бывает всегда. К каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мистика истории заключается в том, что иногда лучше проиграть, чем выиграть. Кое-кто из революционеров понимал это. Махно не понял. Он хотел выиграть, и в этом его трагедия. История сжалилась над ним и из революционера сделала его бандитом. Политический бандитизм – подспудное, «внепарламентское» сопротивление крестьянства диктаторскому режиму партии Ленина – в конечном счете дал стране отдушину нэпа, а большевизму – шанс, который он не использовал. Трагедия большевиков в том, что они победили *всех*. И, как в русской народной сказке, за это право победы заплатили всем живым, что было в революционном движении: окаменели сначала по колена, потом по грудь, потом по самую макушку головы – самым мозгом окаменели.

Еще эта книга о живых людях. О правде, которую носят в себе они. О том, что в реальном, живом человеке желание правды, желание полнокровной, полноценной жизни никогда не угасает. Иначе существование теряет всякий смысл. Если бы это был роман, героем его я сделал бы семнадцатилетнего комсомольца 1919 года Женю Орлова, который, будучи уже глубоким стариком, встретился мне и очень помог в работе. Может быть, именно тем, что сохранил в себе азарт, чувство жизни, кипучей силы ее, романтизм революционной эпохи...

Мы плохо понимаем, к сожалению, какими тайными тропами чувства правды, подлинности бытия и свободы ходят по земле в самые жестокие, огнеомраченные годы, почему они не разлагаются в болотном гниении умирающих режимов. Но именно на этих слабых – по сравнению с силой материального, вещного мира – чувствах и держится, как кажется мне, единственная надежда современной цивилизации, которая подошла к опасной черте

стирания человеческой индивидуальности, чем, вероятно, готовит гибельные последствия для себя.

В этом смысле Махно во всей чрезмерности своих благих порывов и злодейства, во всей отвратительности и привлекательности своей – безусловно, фигура яркая и знаменательная. Если взглянуть на бунт как на особую культуру и представить себе посвященную этой культуре «Всемирную энциклопедию бунтарства», то имя Нестора Махно, конечно, должно быть вписано туда одним из первых.

Я хотел написать эту книгу, как средневековую хронику – устранив авторское «я», изложить читателю факты в их хронологической последовательности. Это не вполне удалось. Стройной и строгой хроники не получилось. Получилась книга, архитектурно представляющая собой почти чудовищное построение. Но так уж вышло. Зато мне, кажется, удалось другое: представить события того времени наглядно, как в кино, показать время в страшных терзаниях и противоречиях его, которые не могли и не могут быть осуждены однозначно.

Да и нужно ли судить? Ведь, возможно, единственная цель книги, которую я написал, состоит именно в том, чтобы передать читателю образ отряда, переходящего реку на пути к свободе...

Чемодан тамбовских булок

Заглянем сначала в Москву, в промозглый, дождливый июнь 1918 года. В это время здесь завязываются узелки драмы, которая до последнего времени будет оставаться одной из самых кровавых и темных страниц революции и Гражданской войны. Чтобы разглядеть завязи дальнейших исторических потрясений, нам придется обойти стороной партийные споры и правительственные декреты, по которым так искусительно легко пишется официальная история. Интересующие нас люди слишком далеки от высших сфер, где решаются судьбы народа. Они пока что на периферии истории, в массовке, и лишь подготавливаются для исполнения сольных партий на исторической арене.

Итак – Москва, июнь 1918-го. Еще остается месяц до возмущения левых эсеров. Еще несколько дней до декрета о комбедах. Еще несколько дней не будет ясно, что недоразумения с продвижением чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири означают начало невиданной по масштабу междоусобицы. Вторжение немцев с Украины на Дон вызвало вспышку белого пламени, но и это, по сути, было только офицерской увертюрой к драме совсем иного порядка... Москва жила дурными предчувствиями, однако жизнь в ней была хоть и скверная, но вполне еще мирная. Убийства. Грабежи. Карточки на табак. Из школьной программы изъяты Закон Божий и основы вероучения. Погиб под трамваем знаменитый актер Мамонт Дальский, анархист и пьяница, – тело отпели в церкви Рождества Христова в Кудрине, а хоронить повезли в Петроград.

Происходили уплотнение квартир «буржуев» и национализация Третьяковской галереи. Случился также угон прямо из гаража автомобиля немецкого посла графа Мирбаха. Напечатан декрет Троцкого о мобилизации в Красную армию. В газетах регулярно публикуются сводки о продуктах, подвозимых в Москву. Объявлено, что нарком просвещения Луначарский с вооруженным отрядом и восемнадцатью вагонами ходового товара отправляется в «хлебную экспедицию» в Вятскую губернию. Эта акция должна была стать как бы визитной карточкой новой продовольственной политики советской власти.

Тридцатипятилетие освящения храма Христа Спасителя праздновали в тяжелые для церкви дни: патриарха Тихона, 8 июня служившего в храме торжественную литургию, вызывали повесткой в ревтрибунал. Он не явился, чувствуя, что дело клонится к его аресту. Действительно, ряд священнослужителей были арестованы безо всяких повесток. Вообще, со времени обнаружения в конце мая заговора «Союза защиты родины и свободы» репрессии власти чрезвычайно усилились. Одно за другим следуют мероприятия: аресты членов кадетской партии. Регистрация офицеров. Аресты и обыски в Петровской сельскохозяйственной академии. Дело земцев. Дело анархистов. Дело Щастного.¹ Лихорадило Звенигород. Трясло Клин. С начала июня Москва, вследствие «обнаружившейся связи» московских заговорщиков с белыми мятежниками в Сибири и на Дону, объявлена постановлением Совнаркома на военном положении. Вскоре режим военного комендантства избрала и близлежащая Кострома «в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагавшемся расхищении продовольственных грузов и разгоне губернского совета распределения» (68, 5 июля 1918 г.).²

¹ Командующий Балтфлотом адмирал А. М. Щастный был вызван из Петрограда в Москву и здесь неожиданно приговорен только что созданным Верховным революционным трибуналом Советской республики к смертной казни за контрреволюционное намерение захватить власть. Настоящих улик против него не было. Тем не менее приговор был приведен в исполнение. Это был первый смертный приговор ревтрибунала, в свое время вызвавший бурные, хотя и безрезультатные протесты демократических кругов.

² Все цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов, без исправления грамматических ошибок и опечаток. В скобках приводятся номер источника по списку, страница или дата.

Впрочем, мирная жизнь еще тлея. В Художественном театре представляли «На дне», в студии Художественного – «Двенадцатую ночь», в театре Незлобина – историческую драму «Царь Иудейский». Народный кинематограф в цирке Саламонского шокировал зрителя картиною «Месть женщины – чудовищная месть». В Московском университете, как сообщала интеллигентная «Свобода России» (5 июня 1918 г.), «И.А.Ильин защитил диссертацию, представленную им на соискание степени магистра государственного права на тему „Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека...“. Во вступительном слове диссертант говорил о своеобразном нечувственном опыте философского познания».

А левозэсеровское «Знамя труда» (11 июня 1918 г.) в день принятия декрета о комбедах опубликовало есенинский «Сельский часослов», который, как током, искрит смертным смятением и тоскою: «Где моя родина?» Где моя Родина, где Русь, что с ней случилось, что над нею сделали? – начался есенинский стон отныне и до смерти. О, как хотел бы видеть он Сына русской девы, укрытого от гибели в «синих яслях» Волги, чтобы, возросши, мог он возвестить миру новую истину! Но Сын ли приидет, или родина со свиньею вместо солнца вынырнет из купели гибели? Нет уверенности ни в чем, нет, нет! И оттого – будто плач:

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета...

В эти самые дни в город на поезде прибыл человек. Несмотря на заградотряды, которые отлавливали мешочников, человек этот привез с собой чемодан тамбовских белых булок, ибо слыхал, что в Москве голод, а дело его было тонкое – добиться знакомства с авторитетами революционного движения и уяснить себе, что же все-таки происходит с революцией и насколько далеко зашло размежевание между различными конфессиями октябрьской веры. По сохранившейся фотографии 1918 года видно, что человек этот был мал ростом, субтилен, узкоплеч, коротко острижен. Одет, по моде того времени, в гимнастерку с портупеей и кирзовые сапоги. Можно с уверенностью сказать, что занятая собою Москва не заметила этого человека: никого особенно не интересовал этот провинциальный революционер, бежавший с Украины от немцев, ибо подобные ему обретались тогда в столице во множестве. Через полгода он заставит надменные большие города считаться с собой.

Звали этого человека Нестор Махно.

По ту сторону мифов

В истории революции едва ли сыщется другая, столь же противоречивая и туманная фигура, как Нестор Иванович Махно. Впрочем, точнее было бы говорить о противоречивости образа, созданного советской исторической наукой и породненными с Клио музами искусств. В случае с Махно мы вновь сталкиваемся с грандиозной фальсификацией, разработку которой десятки лет осуществляли и официальная историческая наука, и литература, и кино, преследуя одну, по сути своей прикладную, задачу: оправдать безраздельное политическое господство партии и ее историческую правоту.

Нет ничего удивительного в том, что в отношении Нестора Махно советская история предпочитала фигуру умолчания: за всем, что связано с махновщиной, стояла такая *ужасающая* правда о Гражданской войне, что лучше было ее просто не трогать. К тому же он пробивал свой путь в революции и, как всякий независимый революционер, подлежал забвению. Сам Махно понимал это. Поэтому он пытался перехватить инициативу и незадолго до финала своей борьбы просил соратника Петра Аршинова пробраться за границу и во что бы то ни стало написать и издать книгу о махновщине. Аршинов сделал это: «История махновского движения» появилась в Берлине в 1923 году. Но в СССР, в отличие даже от мемуаров многих стопроцентных белогвардейцев, она оставалась запрещенной, ибо касалась очень большого для коммунистической власти вопроса – взаимоотношений с крестьянством, которое лишь к 1922 году было окончательно усмирено и политически обезглавлено.

Советский опыт доказал, что умолчание – наиболее эффективное средство против исторической памяти. Конечно, вытравить из этой памяти образ «бабки» интерпретаторам истории было не под силу: Махно был слишком одиозной фигурой. Но зато можно было наполнить этот образ новым содержанием. Решающая роль в этом деле принадлежит, конечно, массовой культуре – литературе и кино, без которых подобные идеологические операции просто невозможны.

Интереснее всего то, что в воспоминаниях о Махно и махновщине *позвоительно* говорить о жутких сторонах русской революции. Сюда, в махновщину, в повстанчество, вытесняются все застарелые комплексы большевизма и угрызения партийной совести. Повстанчеству приписывается то, в чем люди честные и совестливые в свое время обвиняли самих большевиков: неоправданная жестокость, ставка на силу, на инстинкты и амбиции масс, политическая безапелляционность, бестолковая, разрушительная революционность, непонимание законов функционирования цивилизованного общества, в том числе и роли государства.

Разве матросы с «Авроры» взломали винные погреба Зимнего? Нет, это махновцы вылакали винные погреба в Бердянске! Разве большевики обкладывали контрибуциями буржуазию, чтобы залатать финансовые дыры в расстроенных бюджетах городов? Нет, махновцы, махновцы! Разве Саенко – харьковский чекист и отпетый палач – был проклятием Украины? Нет, живодером мог быть только Левка Задов из махновской контрразведки. Разве большевики уничтожали сложившееся оружие противника? А вот махновцы расстреливали пленных юнкеров по-над берегом Азовского моря.

Махновцы – не свои, поэтому они могут быть и плохими, и страшными. Народ Ленина хорош. Народ Махно темен, жесток, раздираем поистине самоубийственными противоречиями.

Другой момент: Махно был всегда особенно ненавистен советской власти как вождь и вдохновитель крестьянской войны. Отсюда и вполне определенная тактика «понижения» его образа – упор на примитивность Махно, отношение к нему свысока как к провинциалу. Причем провинциализм его двоякого рода. С одной стороны, Махно – политический про-

винциал, приверженец анархизма, так и не понявший «передового» марксизма, неизбежного торжества и благородства большевистского дела, а заодно и чести, которая была ему оказана. С другой стороны, он провинциал по происхождению, сын кучера, неуч, деревенщина. Каким бы демократизмом ни отличалась советская мемуарная и художественная литература, в отношении Махно позволительны брезгливо-аристократические нотки. Он примитивно, зримо жесток. Примитивно, зверообразно хитер – именно этой врожденной хитростью, а не военной одаренностью Махно и его командиров и объясняются военные успехи махновцев.

Примитивизация Махно и его окружения стала настолько устойчивой традицией, что даже в книге 1990 года советский историк В. В. Комин (и, что примечательно, за ним другие) в очередной раз повторяет историю о разговоре Махно с рабочими железной дороги, которая всплывает всякий раз, когда надо засвидетельствовать, как мало Махно понимал в жизни и экономике современного ему общества. Когда повстанцы в 1919 году захватили Екатеринослав, железнодорожники обратились к Махно с просьбой выдать им зарплату, задержанную при белых. Махно якобы ответил: «Повстанцы разъезжают на тачанках, им ваши железные дороги не нужны. Пусть же кто катается в поездах и расплачивается с вами» (33, 47). Известно, что свой ответ железнодорожникам Махно напечатал в повстанческой газете «Путь к свободе». И текст его известен. Никаких слов о тачанках и ненужности железных дорог там нет. Откуда же тачанки? Это, так сказать, чистый пропагандистский фольклор начала двадцатых годов. А наш современник просто не смог удержаться от искушения показать, что Махно, дурачок, не понимал такой малости...

Но самых выдающихся успехов достигло художественное слово.

Советская власть никогда не простила Махно ни первой любви, в которой, казалось, выявилось столько единодушия, столько воистину родственного, ни своеволия, которое он противопоставил диктату обеих столиц. Со злобой уязвленного самолюбия – словно капризная, властолюбивая женщина, находящая особое удовольствие в шельмовании отвернувшегося от нее любовника, – она с помощью всех доступных ей средств постаралась представить его образ в издевательском, карикатурном виде.

Заглянем на минутку в творческие мастерские двух крупных советских писателей, стараниями которых лишенный исторического контекста образ Махно вновь обретал плоть и кровь. Итак, Всеволод Иванов, роман «Пархоменко», 1939 год. По-своему уникальный пример трактовки событий Гражданской войны с точки зрения сталинских исторических ориентиров. Махно здесь нарисован с убедительной, конкретной зримостью. Это жестокий, патологически вероломный, бандитствующий атаман, по поводу которого неясно только одно – почему советская власть до сих пор его не прихлопнула? В публикуемом ниже отрывке речь идет о якобы имевшем место визите к Махно атамана Григорьева, который, восстав против большевиков, был разбит и кинулся спасаться к Махно, хитренько схоронившемуся в стороне от ссоры.

«...Махно встретил его на крыльце. Он стоял, расслабленно выставив вперед живот, прогнув поясницу и склонив набок голову с длинными волосами, мелкими глазками и зубами. Стараясь не глядеть в лицо Махно, атаман Григорьев вылез из брички и, схлопывая пыль с сапог, подошел к крыльцу.

– Кто против вас шел? – спросил Махно.

– Ворошилов.

Махно, накручивая волосы на палец, спросил:

– А на Екатеринослав кто наступал?

– Наступал Пархоменко, – ответил Григорьев.

– Большой волк вырос, – сказал Махно и, посторонившись, добавил: – Пожалуйте, атаман, в хату, будем совещаться.

Совещание было краткое. Восстановить разговор двух друзей вряд ли кому удастся. Махно считал вредным давать кому-либо объяснения своих поступков. Только когда на звук выстрела в комнату его вбежал адъютант, он сказал, указывая на труп Григорьева:

– Пospорили, – и пошел к Ламычеву».

Ламычев – посланец от большевиков. Подойдя к нему и опять начиная накручивать волосы на палец, Махно говорит:

«– Мятежник, атаман Григорьев, мною казнен. Есть доказательства, что я подчиняюсь советской власти? Передай, на каких условиях я получу оружие...» (25, 386–387).

Для читателя, незнакомого с историей Гражданской войны, в этом отрывке все правдоподобно, хотя в нем нет ни слова правды. Но уж такова сила художественного слова, что для неспециалиста ничего подозрительного в *этом* батьке Махно нет. Нормальный батька. Вполне доброкачественный. Хотя, надо признать, образ отделан грубовато. Важнейшей и по существу единственной характеристикой, сразу отличающей Махно от положительных персонажей, являются его длинные волосы. Это не только знак принадлежности к чуждому политическому течению – анархизму, но и символ более глубинной, почти биологической инаковости. Особенно отвратительным автору представляется жест накручивания волос на палец. Эта деталь – видимо, намек на изломанность, «женственность», непоследовательность, коварство – с особой значительностью повторяется им дважды. У Багрицкого в «Думе про Опанаса» Махно охарактеризован также через прическу:

«...У Махна по самы плечи волосня густая...»

Тут уж не поймешь, в самом ли деле человек перед нами или уже зверь, – столько поистине животного в этой «волосне». Та же зверскость, звероподобность вычитываются, в конце концов, и у Всеволода Иванова, который наделяет Махно повадками уходящего от погони волка: «Виляя, спотыкаясь и иногда выскакивая в поле, иногда прячась в лес и всегда переодетый крестьянином, уже свыше тысячи километров скакал Украиной патлатый батько Махно» (25, 591). Лохматы и сподвижники Махно, например, «батько Максютя, коренастый мужик с длинными сальными волосами, с серьгой в ухе, похожей на запонку, бывший конокрад и вор» (25, 357).

Суммируя впечатления, мы должны будем признать, что перед нами – выродки. Политические характеристики их предельно упрощены. У Багрицкого смысл махновщины выявляется в поступке Опанаса, убившего комиссара Когана. Вс. Иванов совсем лаконичен: «Бей жидов и грабь буржуев» (25, 361).

Гораздо тоньше сработан Махно Алексеем Толстым в «Хождении по мукам». Сам Махно Толстого интересует, по-видимому, сравнительно мало. Махновщина, которая, несомненно, была глубоко отвратительна сердцу русского барина, каковым автор трилогии был до революции и с успехом оставался после нее, занимает Толстого только как экзотический фон, на котором разворачиваются перипетии романа. Но, несмотря на личную неприязнь и идеологическую скованность, писатель все же дает понять, что фон этот глубоко драматичен.

У Иванова Махно – только выродок, тварь. У Толстого – внушающее ужас порождение того самого народа, о пробуждении которого так долго мечтала русская интеллигенция и которое само по себе оказалось так ужасно. Кого же породил народ, кто стоит во главе его? Злой карлик, бес, оборотень. Вспомним, как Рощин впервые повстречал Махно по дороге в Гуляй-Поле: «Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами – двое военных в черкесках и заломанных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую куртку, из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч» (76, 154). Рощин не может знать, что этот зловеющий гимназист со сморщенным жел-

тым лицом и высоким, «застревающим в ушах» голосом – оборотень, сам Махно, обладающий опасной для противника способностью менять свои обличья.

Оборотничество – черта бесовская. Изображаемый Толстым Махно – безусловно, бесовского племени. Он обладает рядом качеств, отличающих его от простых смертных. Даже пьет и пьянеет Махно иначе, чем обычные люди. В момент, когда Рощин оказывается в штабе Махно, тот стоит на распутье. С одной стороны, приехал делегат от большевиков матрос Чугай, чтобы договориться о совместном походе на Екатеринослав. С другой – прибыл посланник анархистской федерации «Набат» Лев Черный, чтобы отвалить от союза с большевиками. «Армия ждала. Делегат Чугай и мировой анархист из Харькова ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно чудил и безобразничал – глаз его был остер, ухо чуткое, он все знал, все видел. Злоба кипела в нем» (76, 60). Злоба Махно такой нечеловеческой интенсивности, что перед нею клубком сворачивается жестокая душа палача и пытателя Левки Задова. Эта злоба – как судьба, с которой ни сам Махно, ни окружающие его люди ничего не могут поделать: «Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вместе со своим адъютантом Каретником пел песни под гармонь, или появлялся на базаре, злой и бледный, ища ссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер» (76, 159).

Исторической правды ради можно, конечно, отметить, что никакой матрос Чугай на переговоры в Гуляй-Поле не приезжал, так же как и «мировой анархист» Лев Черный, введенный в повествование, похоже, только для того, чтобы высказывать блистательные глупости именем анархии; Левка Задов не был палачом – о чем отдельно. Не случился еще и налет на Бердянск, да и вообще про Екатеринослав совсем не так договаривались. Однако все это отнюдь не снижает жизненности образа. Именно таким батька Махно десятки лет представлялся большинству наших соотечественников.

Но сегодня и эта мастерская литературная работа нас абсолютно не устраивает. Не так все просто – чувствуем мы. Мы достаточно уже много знаем о революции, чтобы верить, будто все дело в этом злобном существе с мальчишеской фигуркой... Или попробуйте объяснить, как он выдержал три года на ринге Гражданской войны, когда в одночасье погибали между тектоническими плитами двух воюющих станом крутые и бывалые атаманы, что ходили до самого Киева. Здесь трагедия иного масштаба. Слышите, набат гудит, кони ржут, бряцает железо? Это деревня собирает своих хлопцев, выставляет на фронт свои полки. Это происходит то, о чем еще Михаил Бакунин мечтал, как о лучшем средстве покончить с мерзостью российской жизни, – народный бунт, который, как огнем, вычистит всех паразитов с тела земли, чтобы на ней, удобренное их пеплом, широко, свободно раскинулось плодоносное древо народной жизни. Наивный был человек Михаил Александрович, раз верил, что без господ, без паразитов прекрасно все устроится и такой благодатью разольется народный дух...

А взбунтовавшийся народ избрал своим вождем Нестора Ивановича Махно, которого с таким чувством описал нам пролетарский писатель Алексей Толстой. Хотя и не надо представлять Махно монстром, чтобы выявить трагизм ситуации. Махно не выродок, он персонаж народной войны, выдвиженец и боевая душа народа, его ненависть – вот где узел, не распутав который, нам никогда не разобраться в ситуации. Он в точном смысле слова народный герой, прошедший через все злодеяния и все подвиги восставшего народа. И сколько бы мы ни упрямыствовали в своем беспримерном народолюбии, придется признать, что вождь, в общем-то, был адекватен своему народу.

Когда В. Г. Короленко в письме к А. В. Луначарскому сказал о Махно как о «среднем выводе украинского народа», он имел в виду как раз то, что его личность вполне соответствовала крестьянским представлениям о вожде: грамотный (но не интеллигент), умный (но неискушенный в политике, дипломатии, экономике), хитрый (но недальновидный – отлич-

ный тактик, скверный стратег), неприхотливый, не терпящий болтовни и казенщины, прежде всего полагающийся на силу, на пулеметы, на «рубку». Даже власть, которой, как ни грешно это было для анархиста, Махно тешил себя, тоже привлекала его именно вещными, чувственными, зримыми атрибутами: коляской, обитой небесного цвета сукном, ладно пригнанной португеей, хлебом-солью, с поклоном поднесенным на рушнике, самим титулом – «батька».³

Обязательно нужно сказать, почему *народный* герой оказался смертельным врагом «народной власти», которую представляли большевики, почему их классовая теория на Украине не сработала и почему она, в принципе, не может сработать иначе, чем с эффективностью топора в хирургической операции. Но мы о другом.

Когда Ленин незадолго до октября 1917-го в «Государстве и революции» мечтательно (и даже как будто веря в это) пишет о знаменитой кухарке, которая вечером, после работы, будет управлять советским государством, предполагаемым как совершеннейшая форма демократии, он немногим отличается от Бакунина, полагавшего, что народу, в принципе, никаких советов давать не надо, поскольку народ сам располагает рецептами обустройства справедливой и свободной жизни...

Что ж, в новейшей истории редко встречались примеры столь полного осуществления народовластия, как в России в 1917–1918 годах и на Украине в 1918–1919 годах. Махновщина, например, – самое что ни на есть полное, самое искреннее воплощение этой идеи. И когда позднее идеологи большевизма пытались доказать, что ничего общего с «истинным» народовластием махновщина не имеет, это была ложь, для части из них бессознательная, но частью – хорошо осознаваемая. Махновщина была поистине хрестоматийной попыткой «до основания» разрушить старый мир, а затем своею собственной рукой воздвигнуть новый. Говорю это совершенно серьезно: попытка была действительно самоотверженная. К сожалению, мы знаем о ней слишком мало, так же как и о том, во что она обошлась самому народу...

В наши дни Махно, частично или полностью «реабилитированный» рядом публикаций, даже в среде образованной читающей публики вызывает несомненные симпатии. Разбойники и мятежники были популярны всегда. В таинственной глубине этой популярности лежит, может быть, подсознательное желание людей, в обыденной жизни вполне добропорядочных и законопослушных, в один прекрасный день по-своему, с помощью клинка и пулемета, рассчитаться с миром, который является источником их страданий и унижений, пошлости и несправедливости. Нужно, однако, оговориться: несмотря на целый ряд появившихся в России и на Украине интересных исследований, посвященных Махно и махновщине, и в биографии самого Махно, и в истории возглавляемого им повстанческого движения остается по сей день так много неясного, что для любителей жанра исторической фантазии остается широкий простор для самых смелых выдумок и компиляций. Именно в этом жанре выполнены книга Игоря Болгарина и Виктора Смирнова «Девять жизней Нестора Махно» и поставленный по ней фильм, где реальные факты густо разбавлены сущей небывальщиной. Книг, подобных «Девяти жизням», гораздо больше, чем научных исследований, проливающих свет на события вековой уже почти давности.

И поскольку популярный образ Махно и по сей день остается образом *фантастического* бандита, можно сказать, что большевикам блестяще удалась глубокая идеологическая диверсия, проведенная в середине двадцатых годов. Ее смысл заключался в том, чтобы низвести Махно из политического противника власти в разряд сопутствующих всякой войне авантюристов и «атаманов». Эта работа заняла никак не меньше десяти лет: с середины два-

³ В украинском языке слово «батько» является ласково-почтительным обращением к отцу, а в другом своем смысле значит – военачальник, командир. Накладываясь друг на друга, эти смыслы составляют единство, которое по-русски передается лишь несколько устаревшей аналогией – «отец-командир». Вот почему, даже будучи красным комбригом, Махно неизменно продолжал подписывать приказы – «комбриг батько Махно».

дцатых в советских журналах одна за другой появляются статьи про Махно, выходят посвященные ему книги. Все это – воспоминания людей, знавших Махно лично или непосредственно столкнувшихся с махновщиной, а потому претендующих на доверие читателя. Здесь и «воспоминания» ближайших сподвижников Махно, и мемуары работавших в Повстанческой армии анархистов, статьи подпольщиков-большевиков и лиц частных, случайно оказавшихся в эпицентре махновщины. Но все эти публикации объединяет одно – разносторонне антипатичный образ «архибандита» Махно. Нет, не комбрига 2-й Украинской Красной армии Нестора Махно, награжденного за боевые заслуги орденом Красного Знамени. И не командира крестьянской Революционно-Повстанческой армии, упорно сражавшейся и против белых, и против красных и в конце концов вынудившей большевиков заключить с нею политическое соглашение, беспрецедентное в истории Гражданской войны. Нет. Махно – бандит, и только. Везде подчеркиваются его личное вероломство и жестокость, пьянство и необузданность его «армии». Все эти публикации богаты фактурой, «случаями», которые, собственно, и делают их правдоподобными – но именно эти «случаи» и не пускают авторов бестселлеров сегодняшнего дня выскочить из наезженной колеи, кружась в которой нам никогда не понять истинного места Нестора Махно в истории. Ну, в самом деле, как отказать от такой вкуснятины, когда Махно, переодетый невестой, пожаловал к одному из помещиков и учинил там кровавую резню... О, эта кровь на подвенечном платье! Красное на белом! Как можно пропустить такое? И небылица с переодеванием снова и снова преподносится читателю как быль.

Все лживые факты, несуразности и неточности, связанные с именем Махно, опровергнуть невозможно – так их много. Я хочу подчеркнуть только одно – чтобы такое количество лжиросло на имя одного человека, нужна государственная политическая кампания по шельмованию его имени. Не будет лишним сказать, что даже опубликованные отрывки из рассказов ближайших соратников Махно – Алексея Чубенко, Виктора Белаша и других – являются не чем иным, как их следственными показаниями, адаптированными для печати. Широко известная в свое время книга кающегося анархиста Иосифа Тепера «Махно» представляет собой сочинение человека, не просто разошедшегося с Махно в политических взглядах, но сломленного и завербованного ГПУ. Мог ли он написать правду? Разумеется, эта ложь в конечном счете выдает себя – но именно она прежде всего востребуется масскультом. Не странно ли это? Нет. Масскульт, выполняющий сегодня роль «тотальной пропаганды» прошлого века, по природе своей питается не истинными фактами, а вымыслом в красивой – или пугающей – обертке.

Разумеется, у всех, кто серьезно интересуется историей и социологией, расстановка акцентов сильно изменилась. Многие совершенно верно усматривают в махновщине «народную оппозицию» большевизму. Остается вопрос – мог ли Махно победить? Если напрямую, то нет. Цивилизационно большевики были гораздо более созвучны наступившему тоталитарному веку, чем Махно с его вольнолюбивыми декларациями. Разумеется, в начале русской революции 1917–1922 годов ни у кого язык не повернулся бы сказать, что речь идет о родах первой в XX веке и никогда доселе невиданной государственной деспотии, первого тоталитарного режима, на которые минувшее столетие оказалось столь щедрым. По сравнению с большевистской «диктатурой пролетариата» махновщина – это романтический марш назад, в прошлое, ко временам Запорожской Сечи, вольности левобережного казачества, окрестянившиеся потомки которого вновь пытались снискать себе свободу и братское равенство. Анархизм был лишь современной формой, в которую облекались эти вековые умонастроения. Это вовсе не значит, что ленинский вариант марксизма был учением более «передовым», чем анархизм, до которого человечество, может статься, дорастет лишь в сравнительно отдаленном будущем. Но мы говорим не о философии, а об истории.

Если мы проанализируем с исторической точки зрения события, о которых пойдет речь, то увидим, что они обусловлены не только очевидными экономическими или политическими интересами, но и прорывом на поверхность глубоко архаичных форм народного сознания, определенных представлений о «воле», социальной справедливости, воинской доблести и т. п. Когда в Екатеринославе Махно устраивал аудиенции, во время которых нуждающиеся подходили к нему и, рассказав о своей нужде, получали от батьки в руки жменьку бумажных денег, – что это было? Бесполезно судить об этом с современной точки зрения. Люди времен Гражданской войны были не такими, как мы, и думали тоже по-другому. И то, в чем нам может увидеться откровенное самолюбование или грубый пиар, им, скорее всего, казалось самым что ни на есть полным, буквальным исполнением справедливости.

Несмотря на вызывающую глубокое сочувствие идею самоуправления народа, которой вдохновлялись украинские крестьяне, махновщина все же была отступлением от цивилизации вспять. В этом смысле и анархизм повстанцев был точно таким же попятным движением, стремлением как бы вернуться во времена, когда государство не вмешивалось в дела вольных казаков. Это было не преодоление государства на основе налаженной самоуправляющейся экономической и общественной жизни и эволюционно значимого скачка в сознании, а отказ от государства, как от «лишнего», непонятного, ненужного явления. Власть, естественно, сохранялась – на уровне, так сказать, вечевой демократии, но более сложные ее структуры представлялись ненужными, паразитическими. Это было одной из причин того, что махновцам, в общем, не удалось пустить корни в городах, где они оказывались хозяевами. Тут они тщетно пытались овладеть системой, пользование которой превышало пределы их компетенции. Расстреляв противников, объявив вольности трудящемуся населению и обложив контрибуцией буржуазию, они смутно представляли себе, что делать дальше. Города становились ловушками: армия, проявлявшая в походах героизм и дисциплину, начинала разлагаться, промышленность еле теплилась, эпидемии свирепствовали с необузданной, средневековой силой. Фактически махновщина эффективно функционировала лишь как военная организация. Ее ждал неизбежный конец всех народных движений: кровавое подавление, истребление вожаков, смутная, тревожная память потомков...

То, о чем будет рассказано, – трагедия с бесчисленными жертвами и нулевыми результатами. В чем причина такой ужасающей исторической несправедливости? Почему тысячи людей, воодушевляемых идеалами добра и правды, с такой жестокостью уничтожали друг друга? За что они погибли?

Не наше дело судить их. Наше дело понять. Как писал философ Хосе Ортега-и-Гасет, посвятивший проблеме «масс» отдельную книгу: «Нам нужно знать подлинную, целостную Историю, чтобы не провалиться в прошлое, а найти выход из него» (62, 154).

Его университеты

Когда в июне 1918 года Махно с чемоданом тамбовских булок появился в Москве, ему еще не исполнилось тридцати лет. За плечами у молодого человека был тот специфический опыт жизни, который, с известной долей условности, можно назвать биографией настоящего революционера. Он рано почувствовал несправедливость, трагический раскол общества на богатых и бедных, рано был втянут в революционную деятельность, рано попал в тюрьму. Как настоящий революционер, свои лучшие годы он провел в заключении. Здесь, в противодействии тюремной администрации, закалился и выковался его характер. Здесь, отсеченный от живой народной жизни, он приемлет от старших товарищей право говорить от имени народа. Впечатления его крайне ограничены, опыт односторонен, чувства обеднены. В душе довлеют упрямая ненависть и романтическое предвосхищение революции, того рода мечтательность, которую С. Л. Франк – правда, применительно к интеллигенции – называл «болезнью»: «Это настроение мечтательности и его отражение на нравственной воле, эта нравственная несерьезность, презрение и равнодушие к настоящему и внутренне лживая, неосновательная идеализация будущего – это духовное состояние и есть ведь последний корень той нравственной болезни, которую мы называем *революционностью* и которая загубила русскую жизнь» (81, 73).

Нелепо, конечно, ждать, что семнадцатилетний подмастерье, каким был Махно в начале своего боевого пути, стал бы размышлять подобным образом. Слова эти могли быть написаны только интеллигентом и только после «ужасающего потрясения» революции. Махно же был чернорабочим, эксплуатируемым и униженным существом, личное недовольство которого революционные теории возводили в ранг исторического приговора «старому миру». При других обстоятельствах «романтизм» юноши мог бы обнаружиться как-нибудь иначе – скажем, в бегстве за счастьем в Америку. Но он рос на Украине, и совсем под боком у него была романтика иного рода – романтика темного и героического революционного подполья.

Историкам о детстве Махно известно совсем мало. Все без исключения красочные подробности, изложенные в полюбившихся нашим книгоиздателям «Мемуарах белогвардейца» Николая Герасименко, относятся к ведению исторической мифологии и не содержат ни грана истины. Махно никогда не служил помощником приказчика в галантерейном магазине в Мариуполе и никогда не выказывал свой дикий нрав, мстя за побои хозяину, не обрешал пуговицы на костюмах и не подливал касторовое масло в чайник с чаем. Не был он и типографским рабочим, не обучался грамоте у анархиста Волина и никогда не служил народным учителем «в одном из сел Мариупольского уезда» (15, 5). Все это, как и недвусмысленный намек Герасименко на сотрудничество Махно с полицией, – чистая, беспримесная фантазия, и остается только гадать, сам ли автор, уловив политическую конъюнктуру, стал ее творцом, или же он ограничился изложением побасенок, которые когда-то от кого-то слышал. Примечательно, что именно из популярных «записок» Герасименко, по-видимому, черпал свои познания о махновщине Алексей Толстой. Писатель вслед за Герасименко утверждает, например, что Махно отбывал царскую каторгу в Акатуе (что неверно), и для пущей убедительности вкладывает ему в уста слова:

«– На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди» (76, 165).

Герасименко же подкрепляет подлинность своего рассказа воспоминаниями одного из махновских атаманов, бывшего матроса-потемкинца Чалого, который будто бы отбывал вместе с Махно каторжный срок в Сибири. На самом деле Чалый – фигура не более реальная, чем матрос Чугай у Алексея Толстого, но на этой фантастической фигуре все-таки лежит

ответ исторической правды. При этом правдой оказывается именно то, что кажется наименее правдоподобным: среди махновских командиров действительно был матрос с броненосца «Потемкин» – батенько Дерменджи. Более близких к истине сведений о молодых годах Махно в книжке Герасименко, увы, нет.

Поскольку никаких исторических исследований и даже просто документов, посвященных детству Махно, не существует, нам остается лишь внимательно перечитать то, что Махно сам написал о своей семье и ранних годах своей жизни (сохранились его «Записки», бегло написанные в Румынии и Польше, и более подробная автобиография, которая под названием «Мятежная юность» была переиздана в Париже в 2006 году). Увы, нам не избежать длинных цитат. Но зато не придется делать лживый вид, будто мы исследовали проблему самостоятельно. Итак, в путь! Поверьте, нам представляется редкая возможность в подробностях проследить становление маленького бунтаря.

...Нестор Махно был пятым и последним ребенком в семье бывшего крепостного крестьянина Ивана Родионовича Михненко, который после реформы служил у помещика Шабельского конюхом и скотником в деревне Шагаровой. Его фамилию, происходящую от имени «Михаил», в документах писали по-разному – когда Михненко, когда Махненко, а когда и Махно. Ко времени рождения младшего сына (это случилось 27 октября 1888 года) Иван Родионович перебрался с семьей в ближнее село Гуляй-Поле,⁴ что славилось своими ярмарками, выгодно устроился кучером к богатому заводчику Марку Кернеру, но вскоре умер, когда Нестору не исполнилось еще и года. Единственное, что отец успел сделать для него, – это записать дату рождения ребенка годом позже. Так делали, чтоб не отдавать в армию совсем уж юных сыновей и подольше держать их при хозяйстве. Позже этот «приписанный» год спас Махно жизнь – ибо суд, разбиравший его дело, считал его несовершеннолетним. Но тогда, в 1889-м, после смерти Ивана Родионовича, семья очутилась поистине в бедственном положении. На руках вдовы Михненко осталось пятеро братьев, мал мала меньше, а у семьи в Гуляй-Поле не было даже дома: по бедности строительство велось медленно, и будущее семейное пристанище представляло собой голые стены без крыши. Мать Махно, Евдокия Матвеевна, была русская – чем и объясняется тот факт, что Махно, рожденный на Украине, лучше говорил по-русски, чем на малороссийском наречии.

Гуляй-Поле представляло собой в ту пору большое селение тысячи в две дворов. Мемуаристка Наталья Сухогорская, случайно оказавшаяся в Гуляй-Поле в самый разгар махновщины, пишет: «При мне там было 3 гимназии, высшее начальное училище, с десятком приходских школ, 2 церкви, синагога, бани, почтовое отделение, много мельниц и маслобоек, кинематограф. Население – в подавляющем большинстве украинцы. Великороссов в Гуляй-Поле мало – больше учителя и служащие. Наоборот, очень много евреев-купцов и ремесленников, очень дружно живущих с украинским селянством...» (74, 37).

«...Смутно припоминаю свое раннее детство, лишенное обычных для ребенка игра и веселья, – пишет в своих „Записках“ Махно, – омраченное сильной нуждой и лишениями, в каких пребывала наша семья, пока не поднялись на ноги мальчуганы и не стали сами на себя зарабатывать. На восьмом году мать отдала меня во 2-ю гуляй-польскую начальную школу. Школьные премудрости давались мне легко... Учитель меня хвалил, а мать была довольна моими успехами. Так было в начале учебного года. Когда же настала зима и река замерзла, я по приглашению своих товарищей стал часто, вместо класса, попадать на реку – на лед. Катание на коньках с сотней таких же шалунов, как и я, меня так увлекало, что я по целым дням не появлялся в школе. Мать была уверена, что я по утрам с книгами отправляюсь в школу и вечером возвращаюсь оттуда же. В действительности же я каждый день уходил

⁴ Ныне принято написание Гуляйполе. С 1938 года этот населенный пункт является городом, центром Гуляйпольского района Запорожской области Украины.

только на речку и, набегавшись, накатавшись там вдоволь с товарищами, проголодавшись, – возвращался домой.

Такое прилежное мое речное занятие продолжалось до самой масленицы. А в эту неделю, в один памятный для меня день, бегая по речке с одним из своих друзей, я провалился на льду, весь измок и чуть было не утонул. Помню, когда сбежались люди и вытащили нас обоих, я, боясь идти домой, побежал к родному дяде. По дороге я весь обмерз. Это вселило дяде боязнь за мое здоровье, и он сейчас же... сообщил обо всем случившемся моей матери.

Когда явилась встревоженная мать, я, растертый спиртом, сидел уже на печке.

Узнав, в чем дело, она разложила меня через скамью и стала лечить куском толстой скрученной веревки. Помню, долго после этого я не мог садиться, как следует, за парту, но помню также, что с этих пор я стал прилежным учеником» (55, 20).

«С наступлением лета, – продолжает наш герой, – я нанялся погонщиком волов к хозяину по фамилии Янсен. Платили мне по 25 копеек в день, то есть полтора рубля в неделю. Каждую субботу, получив эту сумму, я, преисполненный радости, почти бегом бежал 7 км домой, зажав в кулаке деньги. Прибежав, я немедленно отдавал деньги матери и был очень счастлив, когда она их брала... Мое детское сердце наполнялось радостью. Помню, однажды, я забыл напоить своих волов, поэтому по дороге они вдруг повернули и потащили повозку, груженную снопами, к водопою. В этот момент проезжал на бричке помощник управляющего. Это был грубиян, который получил у нас кличку „мухоед“ за то, что держал рот всегда открытым. Он ударил меня два раза кнутом. От ярости я готов был убежать домой, и только воспоминание о субботе и мысль о той радости, которую я доставлю матери, отдавая ей деньги, не позволили мне так поступить. Так я проработал все лето и заработал двадцать рублей. Это был мой первый заработок» (50, 14–15).

Наступила осень. Мать очень хотела, чтобы младший сын прошел полный курс начальной школы, раз уж старшим братьям не суждено было доучиться, и отдала Нестора во второй класс: «...Вскоре я стал лучшим учеником по математике и особенно по чтению. Будущее мне вновь улыбалось. Но второй класс оказался для меня последним. Положение нашей семьи стало настолько тяжелым, что, проработав все лето поденщиком у хозяина, я был вынужден остаться и на зиму... Именно в это время я начал испытывать гнев, злобу и даже ненависть по отношению к хозяину и, в особенности, к его детям: этим молодым бездельникам, которые часто проходили мимо меня, свежие и бодрые, пресыщенные, хорошо одетые, надушенные, тогда как я, грязный, в лохмотьях, босоногий и вонявший навозом, менял подстилку телятам. Несправедливость такого положения вещей бросалась мне в глаза. Единственное, что меня успокаивало тогда, было довольно детское рассуждение, что это в порядке вещей: они были „господами“, а я работником, которому платили за неудобство от вони навоза.

Так прошло два года, я продвинулся в карьере, поменяв телят на коней. Там все стало еще более впечатляющим. Часто я видел, как сыновья хозяина грубо били конюхов, в особенности за то, что кони были «плохо почищены». Но все еще в темных глубинах своего разума я трусливо принимал существующее положение вещей...» (50, 16–17).

«Прошел еще год, наступил 1902, и мне исполнилось тринадцать лет, – продолжает Махно. – Конюхами в то время были, главным образом, люди сознательные, со здравым рассудком. Из-за моего юного возраста ко мне они относились внимательно и очень меня жалели. Однажды летом, когда мы все как раз обедали, кроме старшего конюха, подрезавшего лошадям хвосты, два хозяйских сына вошли в конюшню в сопровождении управляющего и... начали спорить со вторым конюхом. Вначале они разговаривали вежливо, потом тон изменился, они стали кричать и оскорблять его. Затем они бросились на него и стали грубо избивать. Все остальные конюхи стояли полумертвые от страха перед „гневом хозяев“.

Я же выскочил из комнаты, пронесся через двор, влетел в конюшню и закричал, обращаясь к старшему конюху: „Батько Иван! Хозяева бьют Филиппа на кухне!“ Батько Иван как очумелый выскочил на двор, в фартуке, с ножницами в руках. Вместе со мной, не проронив ни слова, он пересек двор и ворвался на кухню... Увидев, что его помощника избивают, он налетел изо всех сил на одного из „господских сынков“, бросился на него как лев и одним ударом повалил на землю. Он ударил его еще несколько раз ногой, затем схватил управляющего и стал дубасить его по-мужицки под ребра. Оба хозяйских сынка вместе с помощником управляющего удрали, выломав две оконные рамы на кухне. Между тем вокруг собрались другие батраки. Все поденщики, бросив работу, прибежали на помощь конюхам. Со всех сторон раздавались крики: „До каких пор хозяева будут издеваться над нами?“ Все встали перед крыльцом господского дома и потребовали выплатить заработанные деньги, заявив, что больше оставаться здесь не будут. Старый хозяин испугался и сам вышел на крыльцо, пытаясь нас уговорить. Он просил конюхов не бросать работу и простить глупость своих молодых наследников. Тогда конюхи решили остаться: они могли чувствовать себя удовлетворенными, так как по крайней мере в этом имении их поступок положил конец раз и навсегда всяким попыткам решать споры при помощи побоев.

Что касается меня, хотя я был еще ребенком, этот инцидент произвел на меня неизгладимое впечатление. Впервые я услышал бунтарские слова, с которыми батько Иван обратился ко мне после этого происшествия: «Никто здесь не должен соглашаться с позором побоев... И если когда-либо, мой маленький Нестор, кто-то из хозяев попробует тебя ударить, хватай первые попавшиеся под руку вилы и проткни его!» Для моего возраста и для моей детской души эти слова казались ужасными, но стихийно... я чувствовал весь их подлинный смысл и справедливость. Впоследствии не один раз, когда я складывал солому в конюшне и видел кого-нибудь из хозяев, я представлял себе, что он собирается меня ударить, а я закалываю его вилами на месте» (50, 17–18).

Что и говорить, признание красноречивое!

В пятнадцать лет жизнь батрака для Махно закончилась: ему пора было обзавестись какой-нибудь «настоящей» специальностью, и он, по совету братьев, поступил учеником на литейный завод Марка Кернера, где один из лучших мастеров-литейщиков по фамилии Великий обучил его искусству литья колес для сеялок. Жизнь семьи шла своим чередом. После того как в 1904 году один из братьев, Савелий, был мобилизован на Русско-японскую войну, а Карп и Емельян обзавелись семьями и отделились, в материнском доме осталось только двое подростков – Григорий да Нестор. Григорий нанялся чернорабочим, а Нестор, проработав некоторое время в красильной мастерской Брука, в конце концов бросил производство и стал возделывать огород – четыре гектара земли, которую больше некому было обрабатывать.

Но тут подоспел 1905 год, и жизнь Махно круто переменялась. Его потянуло в революцию.

Революция всколыхнула Россию до дна. Теперь уже не только стратегически мыслящий большевистский ЦК и таинственная Боевая организация эсеров направляли карающие удары по самодержавию. Пламя полыхнуло вширь, по всей необъятной стране.

В собрании документов по истории первой русской революции, быть может, самыми потрясающими являются те, которые рассказывают о том, как очертя голову кидались в «беспорядки» совершенно частные люди – какие-то учителя, гимназисты, беспартийные рабочие. Повинуясь какой-то сладостной тяге к разрушению ненавистного окружающего, они вдруг начинали ораторствовать на раскаленных докрасна митингах, а то и снаряжать бомбы... Здесь уже политический смысл просматривался с трудом, мотивы были иные: ненависть, нетерпение, обида за вечное унижение, за нелепо складывающуюся жизнь, а то и корысть. Не замедлили выявиться издержки методов, которые выглядели вполне приемле-

мыми для профессиональных революционеров, но в руках масс становились опасным оружием. Профессор А. Келли разглядел это из своего кембриджского далека и тонко отметил: «Массы, не оглядываясь на положительных героев, осуществили свою революцию. Отличия идеалистов от головорезов враз оказались размытыми в атмосфере насилия, когда в революционные ряды влились двусмысленные фигуры, реализуя свои таланты в качестве террористов, провокаторов или членов большевистских групп экспроприации» (30, 56). Воистину, по 1905 году многое можно было бы предсказать о 1917-м!

Деятельность гуляй-польской группы анархистов, в которую вступил шестнадцатилетний Махно, вполне вписывается в этот процесс «обмирщения» революции. Еще работая подручным в красильной мастерской Брука, он, как «мальчик-с-пальчик», был принят в театральный кружок при заводе Кернера, чтобы «смешить публику»⁵ (6,191). В кружке он и познакомился с анархистами. Это были молодые рабочие и крестьяне Гуляй-Поля. Их решимость оказала гипнотизирующее действие на Махно, и он «немедленно присоединился» к ним.

«...Военное положение, введенное по всей стране, полевые суды, карательные отряды, расстрелы – все это сделало борьбу нашей группы очень трудной, – сообщает Махно о своем первом революционном опыте. – Несмотря на это, один раз в неделю, иногда чаще, мы организовывали пропагандистские сходки для ограниченного числа людей, от десяти до пятнадцати человек. Эти ночи, так как собирались мы, главным образом, ночью, были для меня полны света и радости. Зимой мы собирались в чьем-нибудь доме, а летом – в поле, возле пруда, на зеленой траве или, время от времени, на прогулках. Не обладая большими знаниями, мы обсуждали вопросы, которые нас интересовали.

Самым выдающимся товарищем в группе был Прокоп Семенюта. Родом из крестьян, он работал тогда слесарем на заводе. Он был наиболее знающим из нас и одним из первых в Гуляй-Поле, кто серьезно изучал анархизм. После полугода практики в маленьком кружке по изучению анархизма, усвоив основы учения, я начал активную борьбу и перешел в боевую анархо-коммунистическую группу. Основателем этой группы был, главным образом, товарищ Владимир Антони. Его родители, чехи по происхождению, эмигрировавшие из Австрии, были рабочими. Он также работал токарем (и изготавливал для группы бомбы. – В. Г.)» (50, 20).

Ученым анархизмом в группе, в общем, не пахло, и ее юные участники вполне сошли бы за обычных грабителей, если б не романтический стиль их предприятий: черные маски, накладные бороды, требование у богачей денег «на голодающих».

Первое нападение было совершено 5 сентября 1906 года на дом гуляй-польского торговца Плещинера. К нему домой явилось трое с лицами, «вымазанными сажей» (60, 71). Угрожая револьверами и бомбой, они потребовали денег. Плещинер дал им 163 рубля и золотые кольца. Они этим не удовлетворились и потребовали еще золотые часы, которые Плещинер тотчас отдал.

«...10 октября последовало ограбление торговца Брука в том же селе Гуляй-Поле. Участвовало в ограблении 4 лица. Погрозив револьверами, экспроприаторы потребовали „на голодающих“ 500 рублей. Забрав здесь 151 руб., они ушли. Лица были закрыты бумажными масками» (60, 71–72).

Третьему нападению подвергся гуляй-польский Крез – промышленник и купец Марк Кернер, на заводе которого Махно работал. Трое участников с вымазанными грязью лицами ворвались в дом, но тут, к своей неожиданности, натолкнулись на рабочего-электротехника,

⁵ Малый рост Махно – общее место для всех, кто пишет о нем. Однако очень трудно узнать, какого роста он был на самом деле. Сведения об этом сохранились только в архиве Александровской уездной тюрьмы, где его рост определили в 2 аршина и 4 вершка, то есть 160 сантиметров. Это больше тех 150–155 сантиметров, о которых обычно упоминают историки, и вполне сравнимо с ростом Ленина (165 см) и Сталина (163 см).

которого втокнули в кабинет Брука и заперли. Обыскав дом, они обнаружили 425 рублей и слиток серебра. Тем временем жена Брука послала горничную на галерею, чтобы та подняла тревогу. На галерее ее сразу перехватил четвертый «экспроприатор» и отвел на кухню, где оказался еще и пятый. Сам Кернер заявил полиции, что в ограблении его дома принимало участие никак не меньше семи человек, причем якобы они так волновались, что руки у них дрожали. Через два дня Кернер получил письмо от некоей «боевой дружины», в которой та, выразив сожаление, что забрала у него мало денег, предупреждала, что если он будет столь же усердно помогать полиции, как и раньше, дом его будет взорван.

Наконец, 19 августа 1907 года между станцией Гуляй-Поле и селом была ограблена почта: «При этом были убиты почтальон и городовой, везший деньги, и почтовая лошадь. Ямщик оказался жив и рассказал, что, когда почтовая телега выбиралась из оврага в гору по направлению к селу Гуляй-Поле, из оврага посыпались выстрелы. Он погнал лошадей. Выстрелы продолжались. Вскоре одна лошадь пала. Ямщик отпряг живую лошадь и поскакал на ней в село. По осмотре почта оказалась целой...» (60, 72).

Безобразия накапливались, но только после убийства гуляй-польского пристава Лепетченко «анархической группой» всерьез занялась полиция. Новый пристав Караченцев, пытаясь выяснить имена преступников, внедрил в группу своего агента Кушнера, но тот быстро подпал под подозрение и был убит. В сентябре 1907 года на всякий случай были арестованы Махно, а через некоторое время и добивавшийся с ним свидания Владимир Антони. Однако доказать вину того и другого на этот раз не удалось.

«...Позже я узнал, – пишет Махно, – что начальник полиции, некий Караченцев, заявил нашему начальнику почты: „Я никогда еще не видел людей такой закалки. У меня много доказательств, чтобы обвинить их в принадлежности к числу опасных анархистов, но... я не смог ничего от них добиться. Махно, когда на него смотришь, выглядит глупым мужиком, но я знаю, что именно он стрелял в жандармов 26 августа 1907 года. Так вот, несмотря на все мои усилия, я не смог добиться от него никакого признания... Что касается другого, Антони, когда я его допрашивал, подвергнув беспощадным побоям, он набрался наглости заявить мне: ‘Ты, сволочь, никогда из меня ничего не выбьешь!’ А я ведь ему показал, что такое ‘качели!’» (50, 22–23).

Махно был отпущен из тюрьмы через четыре месяца, а Владимиру Антони было предложено выехать в Австрию под тем предлогом, что он австрийский подданный. Но он только покинул пределы Екатеринославской губернии и продолжал поддерживать связь с группой. Оказавшись на свободе в начале 1908-го, Махно вернулся в Гуляй-Поле, где под руководством Александра Семенюты продолжал действовать анархистский кружок. Власти чувствовали, что опасность таится у них под боком, и в Гуляй-Поле было создано охранное отделение, расквартирован отряд казаков. Однажды, когда группа собралась в доме некоего Левадного, дом был окружен казаками и обстрелян. Большинству заговорщиков удалось бежать, кроме Прокопа Семенюты, убитого на месте. Его брат Александр и сам Левадный были ранены, но смогли убежать. Александр Семенюта не смог даже прийти на похороны брата из опасения быть схваченным, но поклялся жестоко отомстить убийцам.

Весной 1908 года произошел целый ряд новых ограблений. 10 апреля в колонии Богодаровске в своем доме был ограблен торговец Левин. Среди принимавших участие в налете Махно не было. 13 мая произошло нападение на дом гуляй-польского купца Шиндлера, дочь которого была ранена пулей. 9 июля в Новоселовке напали на казенную винную лавку, сиделец которой был убит. Встревоженный поступающими из Гуляй-Поля сведениями, туда решил приехать сам губернатор Екатеринославской губернии. По-видимому, он не подозревал, что подвергает себя смертельной опасности, ибо, как только известие о приезде губернатора достигло гуляй-польских анархистов, они незамедлительно стали готовить покушение на него. Однако покушение сорвалось из-за того, что губернатора бдительно охраняли

солдаты. Раздосадованные срывом такой важной операции, боевики решили взорвать отделение гуляй-польской охраны. Для этого Александр Семенюта специально ездил в Екатеринослав, откуда привез девяти- и четырехфунтовые бомбы. Взрыв был намечен на 26 августа.

Тем временем пристав Караченцев решил выследить ту часть группы, которая, выехав из Гуляй-Поля, подалась в Екатеринослав. Одевшись под анархиста, он самолично выследил нескольких боевиков на квартире в пригороде Екатеринослава, сумел арестовать их и добиться «откровенных показаний» (60, 75). Быстро нащупав «слабину» некоторых участников, следствие неустанно добивалось от них все новых и новых сведений. Хшива опознал Горелика и Ольхова и уличал их в ограблении Левина. Алтгаузен уличил Махно и Чернявского, Левадный – Махно, Чернявского, Ольхова и Горелика. Зуйченко тоже топил Махно и валил на него ответственность за убийства. Вскоре явились и новые разоблачители. Родной брат участника группы Ивана Шевченко доложил следствию, что брат прятал у него во дворе бомбы, что у него собиралась для совещаний вся группа и он своими глазами видел в руках у Владимира Антони и своего брата Ивана большие деньги...

Ничего не подозревавший Махно накануне взрыва охранного отделения в Гуляй-Поле был арестован у себя дома, закован в наручники и препровожден в местную тюрьму. Оттуда его перевезли в Александровск (Запорожье). Пока шло следствие, Махно провел время в тюрьме Александровска. Это учреждение, где ему впервые удалось узнать голод и побои, он возненавидел на всю жизнь и неоднократно потом предпринимал попытки стереть тюрьму с лица земли. На следствии он держался крепко и, «несмотря на все обличения, виновным себя не признал» (60, 75). Сохранилась записка, отобранная у Махно во время предварительного заключения, из которой ясно, что замышлялся побег: «Тов[арищи], пишите, на чем остановились: буд[ем] ли что-нибудь] предпринимать? Сила вся у вас, у нас только четыре человека. Да или нет – и назначим день. До свидания, привет всем» (60, 76). Побег был замыслен давно, когда гуляй-польские террористы еще все сидели в одной камере. Но полиция перехитрила их, разбив на четверки, и по очереди стала переправлять в Екатеринославскую тюрьму. Несмотря на это, даже этим «четверкам» удалось договориться между собой и «волей» о том, чтобы их вырвали из рук конвоя при отправлении в Екатеринослав. Руководил подготовкой побега оставшийся на свободе Александр Семенюта. Только стечение ряда случайных обстоятельств (как, например, опоздание поезда) и то, что провокатор Алтгаузен, узнав в толпе на вокзале Александра Семенюту, поднял истошный крик, провалило этот дерзкий замысел.

В марте 1910 года Махно предстал перед Екатеринославским военно-окружным судом. Несмотря на то, что арестованные мотивировали вступление в группу и свою деятельность политикой, идеей «народной свободы», в обвинительном заключении им вменялась в вину чистая уголовщина, а именно: организация «преступного сообщества, поставившего заведомо для них целью своей деятельности открытое, путем угроз, насилия и посягательства на жизнь и личную безопасность похищение имущества правительственных учреждений и частных состоятельных лиц» (60, 77).

Всех участников, кроме умершего в тюрьме от тифа Левадного и некоего Хшивы, повешенного по приговору военного суда в качестве главного обвиняемого в убийстве пристава Лепетченко и провокатора Кушника, приговорили в 1910 году к разным срокам каторги. Махно, как один из главных обвиняемых, был посажен в камеру смертников, где просидел 52 дня. Преступления, вменяемые ему в вину (организация преступного сообщества, хранение револьверов и бомб, изготовление бомб, участие в преступных сходах и экспроприациях у Брука, Кернера и Гуревича), в совокупности подлежали наказанию смертной казнью. Но дело Махно следовало разбирать особо – поскольку он был несовершеннолетним в момент совершенных им злодеяний (вот когда пригодилась выправленная отцом метрика!). Впрочем, всем участникам группы наказание, как мы уже говорили, было смягчено.

«Начиная с 26 марта 1910, – пишет Махно, – нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5, и еще три таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписями, оставленными известными и неизвестными революционерами, которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа... Заключенные в этих камерах чувствовали себя наполовину в могиле. У нас было такое ощущение, как будто мы судорожно цепляемся за край земли и не можем удержаться. Тогда мы думали о всех наших товарищах, оставшихся на свободе, не потерявших веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себя в жертву во имя будущего, мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности» (50, 35).

Камера смертников была тяжким испытанием. Ее обитатели, обреченные на гибель, сдруживались быстро и накрепко, словно понимая, что времени у них больше нет. Они вместе мечтали о революции и просили товарищей – если тем суждено будет остаться в живых – отомстить за них палачам. Потом открывалась тяжелая железная дверь, и заключенный, чью фамилию выкрикнули на этот раз, торопливо прощаясь с оставшимися, уходил, чтобы не вернуться уже никогда.

«... Однажды мое терпение лопнуло, – пишет Махно, – и я отправил прокурору письмо с протестом, спрашивая, почему меня не отправляют на виселицу. В ответ через начальника тюрьмы я узнал, что, принимая во внимание мой юный возраст, казнь мне была заменена на каторжные работы, но он не сказал, на сколько лет. В тот же день меня вместе с последним товарищем, Орловым, перевели в здание, отведенное для каторжников... Оттуда я написал матери, в ответ она мне сообщила, что ходила к губернатору (он скреплял своей подписью окончательные смертные приговоры) и узнала там, что из-за моего юного возраста казнь мне заменили на пожизненную каторгу. Так на смену затянувшемуся кошмару ожидания повешения пришел кошмар каторги...» (50, 42).

По приговору Махно получил 20 лет каторги, которые ему предстояло отбывать в Бутырской тюрьме в Москве. Тем временем политический вдохновитель группы Александр Семенюта, добравшись до Бельгии, прислал оттуда в Гуляй-Поле издевательскую записку: «Село Гуляй-Поле, Екатеринославской губернии, волостное правление, получить Караченцеву, черту рябому. Господин пристав, я слыхал, что вы меня очень разыскиваете и желаете видеть. Если это верно, то прошу пожаловать в Бельгию, здесь свобода слова и можно поговорить. Александр Семенюта, анархист Гуляй-Поля» (60, 77).

Пока Семенюта наслаждался свободой в Бельгии, в августе 1911-го Махно перевезли из Екатеринослава в Москву и на долгие годы замуровали в Бутырках.

«В тюрьме Екатеринослава мы оставались пять с половиной месяцев, – пишет Махно, – затем после двухдневного путешествия прибыли в московскую тюрьму. Начальник отделения каторжников, некий Дружинин, полистал мое дело, пристально посмотрел на меня своими пронзительными глазами и прошептал: „Здесь ты не будешь больше забавляться побегami“. С нас сняли наручники с замками и заковали в наручники на заклепках, которые каторжники должны были носить на протяжении первых восьми лет заключения. После этой маленькой церемонии нас посадили на неделю в камеры на карантин, как этого требовали правила для вновь прибывших. Мы познакомились со старостой политзаключенных, эсером Веденяпиным. После болезни он находился на карантине, прежде чем вернуться в свою камеру. Он нас ввел в курс распорядка жизни в тюрьме, познакомил с другими политическими заключенными, раздобыл для нас табака, сала, хлеба и колбасы, того, чего нам не хватало после поста в дороге...

После окончания карантина меня поселили в камеру № 4 седьмого коридора. В камерах держали по два-три человека, но нас, украинцев, отделили друг от друга, поскольку мы считались бунтовщиками. Я оказался в одной камере с эсером Иосифом Альдиром, литов-

ским евреем из Ковно. Наши темпераменты отлично совпадали, и мы оставались вместе, как братья, вплоть до самой революции. Из окна камеры я мог хорошо рассмотреть все здание тюрьмы. Она занимала целый квартал, посередине находился широкий двор, вокруг него четыре больших корпуса, окруженные в свою очередь вторым двором. Вся территория была ограждена очень высокой стеной с башнями на каждом углу, знаменитыми тем, что в них в свое время сидели Пугачев, затем Гершуни (первый руководитель боевой организации эсеров) и много других, среди которых были толстовцы, подвергавшиеся издевательствам за то, что они отказывались брать в руки оружие во время войны с Японией в 1904–1905. Во внутреннем дворе росли деревья, главным образом липы. В тюрьме тогда находилось 3000 заключенных и несколько сот двуногих псов – охранников. Для узников, содержавшихся на карцерном режиме, было предназначено отдельное здание.

В Бутырки я прибыл 2 августа 1911 года. В это время режим там стал менее жестоким, чем раньше. Когда-то, по рассказам товарищей, это был настоящий кошмар: запрещалось ходить по камере, узников били кулаками или кнутом. Устроившись в камере, я сразу же посвятил свое время чтению. Я глотал книгу за книгой; прочел всех русских классиков от Сумарокова до Льва Шестова, в особенности Белинского и Лермонтова, от которых я был в восторге. Эти книги появились в тюрьме благодаря долгой веренице политзаключенных, которые создали таким образом замечательную библиотеку, значительно более богатую, чем во многих наших провинциальных городах. В особенности, я изучал русскую историю по курсу Ключевского. Я познакомился также с программами социалистических партий и даже с отчетами их подпольных съездов. Позже мне в руки попала книга Кропоткина «Взаимная помощь». Я проглотил ее и постоянно держал при себе, чтобы обсуждать с товарищами.

Я следил по мере возможного за событиями на свободе. Так, с большим волнением я узнал о заявлении министра внутренних дел Макарова по поводу кровавого расстрела на Ленских золотых приисках: «Так есть и так будет всегда». Это повергло меня в глубокую депрессию. Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года, напротив, вернуло мне боевой дух.

Увы! Мой страстный порыв к образованию был вскоре прерван продолжительной и тяжелой болезнью – воспалением легких, из-за которого я попал в больницу. Вначале мне поставили диагноз мокрый плеврит, затем, три месяца спустя, туберкулез легких. Это было очень серьезно, и я пролежал в больнице восемь месяцев. Подлечившись, я вновь с пылом взялся за изучение своих любимых дисциплин: истории, географии и математики.

Вскоре я познакомился с товарищем Аршиновым, о котором много слышал раньше. Эта встреча стала для меня большой радостью. В тюрьме он был одним из тех редких анархистов, которые отдавали предпочтение практике. Даже в тюрьме он оставался очень активным, и, сохраняя связи с внешним миром, он перегруппировывал и организовывал заключенных. По каждому поводу я надоедал ему записками. Проявляя большую сдержанность, он всегда шел мне навстречу, мы оставались в тесных отношениях до выхода из тюрьмы, а затем эти отношения стали еще более прочными...» (50, 49–50).

Петр Андреевич Аршинов был всего года на два старше Махно, но опыт в революции имел куда более солидный. В прошлом рабочий, слесарь, он упорно занимался самообразованием, пережил увлечение марксизмом и даже состоял в большевистской организации. Но с 1905 года он окончательно самоопределился как анархист и террорист и целиком отдался новому призванию. В конце 1906 года он с несколькими товарищами взорвал полицейский участок в пригороде Екатеринослава. В марте 1907-го пытался застрелить начальника главных железнодорожных мастерских Александровска Василенко. «Вина последнего перед рабочим классом, – читаем в предисловии Волина к „Истории махновского движения“, – состояла в том, что он отдал под военный суд за Александровское вооруженное восстание в декабре 1905 г. свыше 100 человек рабочих, из которых многие, на основании показаний Василенко, были осуждены на казнь или на долгосрочную каторгу... На этом акте

Аршинов был схвачен полицией, жестоко избит и через два дня, в порядке военно-полевого суда, приговорен к казни через повешение» (2,13). Заминка с исполнением приговора позволила Аршинову бежать из александровской тюрьмы во время пасхальной заутрени. Он пробрался за границу, жил во Франции, но через два года вернулся в Россию нелегалом. В 1910 году австрийцы взяли его с транспортом литературы и оружия, выдали русским властям. На этот раз приговор был – 20 лет каторги. Он отбывал срок в Бутырках, где узнал о Махно, с которым скоро сдружился, переговариваясь с ним по тюремному «телеграфу» и при помощи записок.

По-видимому, своими познаниями в анархистской теории в ее классическом, бакунинско-кропоткинском ключе Махно в основном обязан Аршинову. Во всяком случае, он твердо уверовал в созидательные возможности народного бунта и совсем не принял новейший европейский синдикализм с его тактикой стачечной борьбы и курсом на «профсоюзный коммунизм», считая его чем-то вроде меньшевизма в анархистском движении. Жизнь в Бутырках описана Махно в «Биографии» настолько подробно, что нет необходимости детально излагать ее здесь. «Бутырки» стали его университетом. Здесь Махно провел почти шесть лет. Здесь он перестал быть обычным деревенским «огнепускателем», едва умеющим читать и писать. Здесь впервые сочинил стихотворение «Призыв», пронизанное жаждой кровавого мщения, – которое напечатал потом в астраханской газете «Мысли самых свободных людей» под каторжным псевдонимом «Скромный». Здесь впервые испробовал себя в спорах с социалистами самых разных направлений. Когда началась Первая мировая и большинство эсеров и социал-демократов «приняли» войну, встав в этом вопросе на одну точку зрения с царским кабинетом министров, Махно разразился листовкой, в заглавии которой с присущей ему страстью вопрошал: «Товарищи, когда же вы, наконец, перестанете быть подлецами?» – из-за чего у него вышел крупный конфликт с одним из видных эсеров (56, 2). Однако, несмотря даже на политические споры, жизнь в тюрьме не отличалась разнообразием. Когда Махно арестовали, ему было девятнадцать лет. В Бутырской тюрьме ему сравнялось двадцать восемь – в этих стенах могло пройти еще столько же лет, и для мира ничего не изменилось бы. Каким-то образом он не впадал в отчаяние, не терял голову, продолжая занятия самообразованием, с особым усердием штудирова любимые науки – историю, географию, математику.

Многих удивит, что Махно писал и стихи, в том числе лирические. Писал по-русски, но были в них и украинские слова, и украинская степная тоска по воле. Кто-то из соседей по камере записал одно из них:

Гей, батька мой, степь широкая!
А поговорю я еще с тобою...
Ведь молодые ж мои бедные года
Да ушли за водою...
Ой, вы звезды, звезды ясные,
Уже и красота мне ваша совсем немила...
Ведь на темные мои кудри да пороша
Белая легла.
Ой, ночи черные да безглазые!
И не видно мне, куда иду...
Еще с малых лет я одинокий.
Да таким и пропаду.
Где ж вы, братья мои милые?
Никто слез горьких мне не вытер...
И вот стою я, словно тот дуб,

А вокруг только тучи да ветер...⁶

Позже Махно тоже писал стихи, но это были трескучие рифмованные агитки, лишённые всякого поэтического чувства. Быть может, именно в Бутырке пережил он последний момент, когда это чувство можно было удержать, претворить в нечто созидающее. Но слишком мрачным был тюремный быт, слишком глубока тоска, слишком беспросветна копившаяся годами ненависть.

* * *

Все изменилось в один миг. Свобода обрушилась на него так же неожиданно, как когда-то арест.

Наступил 1917 год.

«1 марта, часов в 8–9 вечера нас начали освобождать, – пишет Махно в своих „Записках“. – Об этом освобождении никто из заключённых ничего не знал. Все знали и видели, что по одному, по два человека из отдельных камер куда-то зачем-то вызывают, а обратно не приводят. Нам не говорили, куда и зачем уводили этих людей, и это для нас было загадкой. Загадка эта нас всех мучила и беспокоила. Мы терялись в догадках и начинали нервничать.

Помню, было около часа ночи. Из 25 человек в камере осталось только 12; остальные были куда-то уведены. Несмотря на столь поздний для тюрьмы час, мы, оставшиеся ещё в камере, нервничая, мучаясь неизвестностью, спать и не собирались ложиться. Наконец – свисток. Проверка. К нам в камеру заходит дежурный помощник начальника тюрьмы и с ним какой-то не известный нам военный. Дрожащим от волнения голосом спрашиваю: «Господин помощник, будьте добры, объясните нам, куда и зачем увели наших товарищей?»

Услышав мой вопрос, помощник быстро произнес: «Успокойтесь и не волнуйтесь. Нашей стране дал Бог переворот, объявлена свобода, к которой примкнул и я. Кто имеет 102 статью (статья о принадлежности к политическим партиям), тот завтра обязательно будет освобождён. Сейчас комиссия по освобождению устала и поехала отдохнуть». Сказав это, он вежливо раскланялся с нами, чего раньше никогда не делал, и вышел из камеры. Многие из нас от радости подпрыгнули чуть ли не до самого потолка. Другие, со злобой, посылая проклятия по адресу комиссии по освобождению политических, заплакали.

Когда я спросил их: «О чем вы плачете», то мне ответили: «Мы десятками лет томимся по застенкам тюрем и не устали, а они (комиссия) там на воле поработали всего только несколько часов и уже устали. А вдруг восторжествует снова контрреволюция, и мы остались опять на долгие годы в этих гнусных застенках». Эти слова многих из нас натолкнули на разные мысли, и на час-другой каждый из нас погрузился в уныние... Сколько тревог, надежд и волнений уместилось в наших душах...» (55, 21–22).

Далее он продолжает: «Рассвет... Спать в эту ночь никто из нас не ложился. Каждый погрузился в самого себя и с нетерпением ожидал утра, а с ним и обещанного освобождения. Какой бесконечно желанной, прекрасной и дорогой нам, бессрочникам, казалась в эти минуты свобода. И, не получив ещё ее, как мы волновались, как трепетали наши сердца в тревоге, в страхе, что у нас ее, свободу, или вернее – мечту о ней, отымут.

Время шло страшно медленно, и часы казались вечностью.

Наконец-то среди мертвой тишины камеры послышался шум говора со двора и раздался выстрел. Окно нашей камеры выходило на широкий двор тюрьмы с церковью и с боль-

⁶ Стихи цитируются по книге внучатого племянника Махно Виктора Яланского и журналиста Ларисы Вережки «Нестор і Галина: розповідають фотокартки» (Киев, 1999). В этом издании история Махно и его семьи воссоздается с помощью рассказов родственников батки и его земляков – жителей Гуляй-Поля.

шой площадью впереди нее. Услышав шум и выстрел, мы все моментально ринулись к окну. Видим, вся площадь тюремного двора заполнена солдатами в форме конвойной команды. То и были конвойные, которые кричали: «Товарищи заключенные, выходите все на свободу. Свобода для всех дана!»

Из окон тюремных камер слышалось: «Камеры заперты».

«Ломайте двери!» – все, как один, крикнули конвоиры.

И мы, не долго думая, сняли со стола полуторавершковую крышку и, раскатав ее на руках, сильно ударили ею по двери. Дверь открылась. С шумом, с криком выбежали мы в коридор и направились было к другим камерам, чтобы посоветовать, как открыть дверь, но там без совета проделали то же, что и мы, и все уже были на дворе...

Тогда мы поспешили все к воротам, ведущим на одну из улиц Москвы. Там были уже тысячи каторжан, и каждый из них спешил первым выйти на улицу. На Долгоруковской улице по дороге к городской думе всех нас выстроили по четыре человека в ряд, для регистрации, как пояснили нам. Вдруг видим – летят от городской думы военные и гражданские и с возмущением в голосе кричат конвоирам: «Что вы наделали... Обратно в тюрьму!.. Освобождение будет производиться по порядку».

И нас моментально охватили войска и загнали обратно в тюрьму.

Среди криков и проклятий моих товарищей по адресу и властей, и комиссии по освобождению просидел я еще часов 5–6.

Наконец заходит какой-то офицер в чине поручика с какими-то бумагами в руках и кричит: «Кто такой Махно?» Я откликнулся.

Он подошел ко мне, поздравил со свободой и попросил следовать за ним. Я пошел. Товарищи бросились за мной вдогонку, плачут, бросаются на шею, целуют. – Не забудь напомнить о нас...

По дороге этот офицер многих еще вызывал, и, следуя за ним, мы пришли в привратничью. Здесь на наковальне солдаты разбили наши ножные и ручные кандалы, после чего нас попросили зайти в тюремную контору. Здесь заседала комиссия по освобождению. Она сообщила нам, кто из нас по какой статье освобождается, и поздравили со свободой. Отсюда уже без провожатых мы сами свободно вышли на улицу. Здесь нас встречали толпы народа, которые также приветствовали нас со свободой. Зарегистрировавшись в городской думе, мы отправились в госпиталь, где для нас были отведены помещения...» (55, 23).

Знакомых в древней столице у него не было. С неделю, пьяный от весны и от свободы, шатался Махно по бурлящей Москве, но, так и не найдя себе в ней ни места, ни дела, оставил Аршинова и двинул на юг, в родное Гуляй-Поле. Он вообще не любил городов и не понимал их.

Первые шаги

С этого момента начинается новая история Махно. Революция давала ему шанс – выжить, выдвинуться, самоутвердиться. На авансцену политической жизни выходили вчерашние изгои империи, чтобы явить массам искус политического радикализма, немедленного, здесь и теперь, осуществления права всех на всё.

О событиях того времени мы также можем судить по мемуарам Махно. Он стал писать их уже в Париже, надеясь, вероятно, хоть на бумаге сквитаться со своими старыми врагами. В то время так поступали многие, но Махно это не удалось. Его погубила кропотливость, желание до мельчайших подробностей припомнить этапы своего боевого пути: вышло три книги, местами написанные совершенно чудовищным, лозунговым языком политика-самоучки. Как на грех, они обрываются ноябрем 1918 года, когда, собственно, и начался самый интересный период махновщины.

Впрочем, до мемуаров было далеко. Пока что выпущенный из тюрьмы арестант возвращался домой. Двадцати восьми лет, не имея за душой ни гроша, ни толковой профессии, – ничего, кроме девяти лет холодного тюремного бешенства, сделавшего его фанатиком анархии, – Махно, вероятно, в иное время в глазах односельчан выглядел бы полным неудачником. Но времена изменились, и он, как «свой» политкаторжанин, сразу попал в центр внимания. В Гуляй-Поле в ту пору царила обычная для всякого переходного времени неразбериха. Старая власть рухнула, новая еще не успела организовать. Руководить пытался какой-то «общественный комитет» (в названиях тоже не было определенности), во главе которого стоял почему-то прапорщик расквартированной в селе пулеметной команды. Политические симпатии гуляй-польцев были смутными, но склонялись вроде бы к эсерам, которые создали в селе отделение Крестьянского союза, придуманного для того, чтобы, когда придет время, способствовать переделу земли. Местная анархистская группа пользовалась, судя по всему, популярностью весьма ограниченной. Ей явно не хватало вождя, который объяснил бы крестьянам задачу момента, да и вообще мог бы как-то соприять теорию с действительностью... К слову сказать, все они, молодые крестьянские парни, были еще детьми или, в лучшем случае, подростками, когда Махно уже сел в тюрьму «за революцию». К ним-то – весьма кстати – и явился Махно, сразу же завоевавший непререкаемый авторитет среди молодежи. Никто из его товарищей по дерзким экспроприациям 1906–1908 годов, кроме Назара Зуйченко (да и то на самых первых порах), никогда больше не всплыл в истории того, что позднее получило наименование «махновщины». Время унесло их навсегда. На их место пришли новые. Махно явился, чтобы возглавить молодых и вместе с ними построить другую жизнь. Нет, не хозяйство только – а жизнь целиком, переменив весь ее уклад, весь дух, все веками складывающиеся отношения в пользу трудящегося на земле крестьянина. Собственно дом, хозяйство, быт – все то, чего он столько лет был лишен, – по-видимому, совсем тогда не привлекали его. Он, правда, женится на крестьянской девушке, повинувшись воле матери, которая хотела, чтоб у младшего сына хотя бы после каторги все устроилось по-людски, да, видно, семейная жизнь занимала его мало: лишь пару раз вспоминает он свою Настеньку в мемуарах, с какой-то излишней холодноватой вежливостью называя ее «подруга» и «моя милая подруга», будто речь идет вовсе не о жене. Свадебная гульба, как рассказывают в Гуляй-Поле, продолжалась три дня: это было время беспечное, изобильное, время надежд самых радужных, время весны революции – которая и сама, возможно, представлялась как нескончаемое торжество трудового народа, праздник с горилкой и песнями. Кто из сидящих за столом думал тогда, что большинству собравшихся на пир уготована скорая смерть, что опустошатся амбары, что весь крестьянский мир и быт будет порушен, а чувство праздника сменит сплошная череда скорбей?

Могла ли мать Махно, Евдокия Матвеевна, предположить, что через год убьют двух ее старших сынов, с промежутком в год вслед за ними уйдут еще двое, а последний – сидящий пока во главе свадебного стола – будет объявлен злейшим врагом трудового народа и тоже сгинет, потеряется в мире, умрет в ужасающей нищете? Она долго не знала, где он, жив ли. Потом выяснилось, что вроде жив. А в 1928 году Махно прислал родственникам в Гуляй-Поле фотографию из Парижа: сидит за столиком с витыми ножками, смышлено что-то пишет. Положительный такой, в костюме, в галстук. Рядом оперлась руками на стол девочка – дочь Леночка. По-французски – Люси. После этого случая журнал «Огонек» опубликовал даже заметку «Махно в Париже», поместив открытку в качестве иллюстрации. Заметка была, в общем, незлая – еще не иссякло время поверхностного бухаринского прекраснотушия, – так что выходило, что Махно, в общем-то, примирился и раскаялся. Писатель Лев Никулин, который встретил знаменитого анархиста в Париже, заканчивал свою заметку словами: «Как ни странно, он мечтал о возвращении на родину...»

Да, он мечтал. Но между этими двумя моментами – временем, когда он вернулся на родину, и временем, когда он страстно *захотел* вернуться туда, вновь обрести ее, навеки утраченную, – пролегла пропасть. Все изменится. Исчезнут люди. Война изменит облик земли. Придя в движение, история сомнет и перемешает все. Все станет неузнаваемым, *невозвратным*. Иногда я думаю о том, сколько людей уже в 1919-м, не говоря уже о 1920 или 1921 годах, было бы радо, если бы Бог сотворил чудо и вернул все на свои места, сделал, *как было*. Но так не бывает. Прекраснотушные порывы 1917 года сменились беспощадной борьбой четырех последующих лет. Юноша, заигравшийся в революцию и заплативший за это девятью годами тюрьмы, был безжалостно пленен правилами игры и стал грозным партизанским вождем, потом знаменитым, государственного размера, бандитом для того, чтобы спустя еще несколько лет, гуляя по Венсеннскому лесу с молодой анархисткой Идой Метт, поведать ей о своей *мечте*.

Нам надо обязательно вчитаться в это свидетельство, чтобы понять, как трагичен Махно, чтобы понять, за что он боролся и к чему так никогда и не пришел. Он видел себя крестьянином. Он воображал себя молодым. Он представлял себя возвращающимся в родное Гуляй-Поле, вечером, после дня, удачно проведенного на ярмарке с молодой женой, где они вместе продавали выращенные ими плоды... Они накупили в городе подарков... У него добрая лошадь и хорошая упряжь...

Ничему этому не суждено было сбыться. Может быть, гуляя в Венсеннском лесу, Махно вспоминал и первую жену свою, нежную красавицу Настю Васецкую. Может быть, именно она представлялась ему тогда сидящей рядом с ним на крестьянских дорогах спокойной спутницей его тихого семейного счастья... Но в 1917 году такое счастье не устраивало его, казалось слишком приземленным. Он почти не бывал дома, все сновал по митингам и комитетам, а потом, когда время забурлило, забилося, как вода в теснине, он попросту потерял жену свою во времени: оставил ее в Царицыне и уехал в Москву, чтобы уже не вернуться к ней. Когда они расставались, она была уже давно беременна и вскорости родила, но мальчик, Саша, появился на свет с каким-то врожденным уродством и быстро умер. А Настя прожила долго. Как и у всех, опаленных близостью к Махно, судьба ее сложилась не сладко. В конце концов она устроилась, вышла замуж за бобыля, растила ему четверых детей. Старухой уже продавала семечки на станции Гуляй-Поле. По мудрой простоте души зла на бывшего мужа своего она не держала, понимая, должно быть, что не судьба была ей быть с ним, – уж больно неугомонен был, больно хотел осчастливить человечество...

Ему суждена была другая женщина, способная к войне и борьбе. Ею стала учительница гуляй-польской двухклассной школы Галина (по паспорту Агафья) Андреевна Кузьменко. Несомненно, была она натурой куда более романтической, чем Настя. Ко времени знакомства с Махно успела закончить шесть классов, уйти из родительского дома в послушницы

Красногорского женского монастыря, сбежать из монастыря с бароном Корфом в его имение под Умань, быть проклятой бароной родней и в конце концов преданной своим женихом, вновь вернуться в монастырь, быть, во избежание скандала, изгнанной оттуда, закончить с отличием женскую семинарию в Добровеличковке и, наконец, стать учительницей в Гуляй-Поле. В ней не было покоя, зато были неутоленная страсть и порох для взрыва — именно такая женщина нужна в годы борьбы. Потом, когда война закончилась, отношения ее с Махно разладились, и, хотя она родила ему дочь, собственно семьи так и не сложилось. Они то расходились, то сходились вновь, у нее бывали романы; Ида Метт,⁷ близко знавшая Махно в Париже, вспоминала, что на людях жена часто была резка с ним, так что со стороны казалось даже, что она вряд ли когда-либо любила его и оказалась с ним рядом лишь потому, что ей льстило быть женою самого могущественного атамана Украины.

Он же, как ни странно, был ей верным мужем. Вообще, как ни странно покажется это после всех слухов, окружающих имя Махно, он был человеком патриархально-аскетичным, хотя в пору своей славы мог бы позволить себе любые излишества любви. Он нежно любил дочь, и, если в запальчивости ему случалось отшлепать ее, он ощущал себя больным весь день — такое даже трудно предположить в человеке, пожелавшем вступить в единоборство с Историей в тот момент, когда она требует от человека злодейства и не отпускает до тех пор, пока не выбьет из него прекраснуюдушную веру в то, что ничтожеству отдельного человека подвластны ее неумолимые стихии...

Впрочем, до разгула стихий было еще очень далеко: пока дул лишь легкий освежающий ветерок, колыхавший скатерть свадебного стола, за которым сидели пятеро братьев Махно, живые, веселые, хмельные. И казалось им, что и вправду быть им хозяевами жизни, и, может статься, прав младшенький, сидящий подле невесты, — главное зараз не сробеть и взять свое...

Свою общепользную деятельность Нестор Махно начал с того, что на крестьянском сходе объявил незаконным то, что власть в селе представляет чужой, пришлый, никому не подотчетный человек — пулеметный прапорщик. Прапорщика сместили, общественный комитет разогнали.

Махно обнажил саму суть анархической идеи: все устроить своим умом и никаким чуждым народу обязательствам не подчиняться, соблюдая свою пользу. Эта идея чрезвычайно понравилась его односельчанам. И когда через некоторое время из Александровска прибыли в Гуляй-Поле инструкторы агитировать за войну и Учредительное собрание, крестьяне отказались голосовать за предложенные им резолюции, «заявив ораторам, что они... находятся в периоде организации своих трудовых сил и поэтому никаких резолюций извне не могут принимать» (51, 20).

Гуляй-Поле всегда было тихой глубинкою — кто бы мог предположить, что здесь самая крамола и заведется, что отсюда и из таких же чистых, опрятных сел взметнется, как джинн, огонь войны?

Хоть крестьянский союз был и эсеровский, Махно избрали председателем комитета союза в Гуляй-Поле: он ездит по волости, организует отделения в деревнях, агитирует. За

⁷ Метт (Гильман) Ида (1901, Сморгонь, Белоруссия—1973, Париж) — активистка революционного анархо-синдикалистского движения. Родители, еврей-торговцы, дали ей возможность получить медицинское образование. Подвергшись аресту по обвинению в подрывной деятельности, она в конечном счете смогла выехать из России. После двухлетнего пребывания в Польше она в 1926 году приезжает в Париж. Здесь знакомится с П. Аршиновым, В. Волиным и Н. Лазаревичем, позже ставшим ее мужем. Группа издает газету «Дело труда», в которой сотрудничал Н. Махно. В 1928 году Ида и Николай порывают с группой и издают газету «Профсоюзное освобождение», однако в ноябре их высылают за пределы Франции. Живут и работают в Бельгии, Испании, с 1936-го — снова во Франции. В 1940 году супругов арестовывают немцы. Ида с сыном в течение года содержатся в лагере Риекro, затем, благодаря вмешательству Бориса Суварина, их переводят на юг Франции, в департамент Вар под полицейский надзор. С 1948 года Ида работала врачом, позднее — переводчицей. Автор ряда произведений, в том числе книги «Кронштадтская коммуна».

что агитирует? Да вот, «уясняет» трудовому крестьянству первостепенную задачу: захват земли и самоуправление «без какой бы то ни было опеки» (51, 25). Втолковывает, то есть что ни Учредительного собрания, ни законов ждать не надо – надо брать землю, пока плохо лежит и власть слаба.

Не сразу себе это «уяснили» крестьяне, но за несколько месяцев идея, в целом, возобладала. Массы, разохоченные обещаниями даровой земли, уважали гуляй-польского каторжанина за крутость и смелость суждений. Вскоре при перевыборах «общественного комитета» Махно был избран туда руководителем земельного отдела. И этой должностью он умело воспользовался, обривизовав все земли помещиков и кулаков.

В начале лета на предприятиях Гуляй-Поля был введен рабочий контроль. В июне «крестьяне Гуляй-польского района отказались платить вторую часть арендной платы помещикам и кулакам за землю, надеясь (после сбора хлебов) отобрать ее у них совсем без всяких разговоров с ними и с властью...» (51, 44). Внятно, явственно уже тянуло паленым: вот хлеб убрать, а там:

Дело Стеньки с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все поместья богачевы
разметем пожарчиком...

Впрочем, спешки не было. К захвату земель еще надо было подготовиться – вооружиться, например. Пока же устраивали сходы и митинги, своеобразные смотры настроений и сил. После расстрела в июле 1917-го рабочей демонстрации в Петрограде один из митингов выпалил такой резолюцией: «Мы, крестьяне и рабочие Гуляй-Поля, этого правительственного злодеяния не забудем... Пока же шлем ему, а заодно и Киевскому правительству – в лице Центральной Рады и ее Секретариата – смерть и проклятие, как злейшим врагам нашей свободы...» (51, 47).

Популярность Махно росла. Он одновременно выбран был односельчанами сразу на пять должностей: председателем крестьянского союза, председателем профсоюза рабочих-металлистов и деревообделочников, главой районного земельного комитета, районным комиссаром милиции и даже председателем организованной в селе больницы кассы. Везде избранный «председателем» Махно, естественно, физически не мог справиться со всей массой свалившихся на него дел. Как все успеть? Да и вообще, нужно ли анархисту быть главным во всяком деле? Он чувствовал себя неуверенно. Он шлет «наивную» (по его же собственному выражению) телеграмму известному анархисту Аполлону Карелину – принимать ли ему, стороннику безвластия, такие должности? От имени анархистской группы он составляет приветственное письмо П. А. Кропоткину по случаю его возвращения в Россию и ждет конкретных указаний – как завладеть землей без власти над собою и выжить паразитов? Но ответа нет. Приехав в начале августа в Екатеринослав на губернский съезд Советов, он первым делом мчится посоветоваться в федерацию анархистов – но и тут никто не может удовлетворить его практическое любопытство.

Федерация анархистов Екатеринослава вместе с губернским комитетом большевиков размещалась в здании бывшего английского клуба. Картина, которую увидел Махно, удручила его. «Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал „анархическое“ общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении, не учитывало никаких моментов для революционной пропаганды среди широких трудовых масс...

Тогда я спросил себя: для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого

порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметен, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости?» (51, 54–55). Горькое недоумение не раз посещало Махно при виде единомышленников, но он никогда не усомнился в «истинности» анархизма как политической доктрины.

Губернский съезд Советов в Екатеринославе, на котором Махно попал в земельную комиссию, вынес одно принципиальное решение: преобразовать созданные на местах крестьянские союзы в советы. Махно как председатель и стал первым заместителем новой советской власти в Гуляй-Поле.

Август закончился известием о неудавшемся походе генерала Корнилова на Петроград и созданием в Гуляй-Поле, по примеру столиц, комитета спасения революции на случай попытки контрреволюционного переворота. На митингах анархистская группа требовала разоружить всех помещиков и кулаков в районе, а также «немедленно отобрать у них землю и организовать по усадьбам свободные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах самих помещиков и кулаков» (51, 70–71). Власти, наконец, встревожились. Уездный комиссар Временного правительства категорически требовал «удаления Н. Махно от всякой общественной деятельности в Гуляй-Поле» (51, 73). Но было уже поздно...

Наступил сентябрь. Сам Махно, возможно, еще колебался бы, раздумывая, как сподручнее осуществить аграрный переворот, но нагрянувшая накануне в Гуляй-Поле Маруся Никифорова требовала немедленных действий. Никифорова, позднее долгое время состоявшая при Махно на вторых ролях, в ту пору пользовалась куда более громкой известностью, чем он. Бывшая посудомойка водочного завода, убежденная анархистка, она была за террористические акты 1904–1905 годов приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывала в Петропавловской крепости. В 1910 году ее перевезли в Сибирь, и оттуда она, как когда-то Бакунин, через Японию бежала в Америку. В семнадцатом, подобно другим эмигрантам, вернулась на родину – ненавидящей и непримиренной.

Никифорова обрушила на Махно град упреков в постепенстве, соглашательстве и отходе от бунтарского правого дела:

– Надо прямым насилием над буржуазией разрушать устои буржуазной революции! (6, 194).

Маруся предложила разоружить часть Преображенского полка, стоящую неподалеку от Гуляй-Поля. Эпизод этот, вскользь упомянутый в воспоминаниях Махно, восполняется рассказом Назара Зуйченко: «Числа десятого сентября семнадцатого года, мы, 200 человек, выехали поездом в Орехово. Оружия, за исключением десяти винтовок и стольких же револьверов, взятых нами у милиции, у нас не было. На станции Орехово мы оцепили снабжение полка и в цейхгаузе нашли винтовки. Затем окружили в местечке штаб. Командир успел удраить, а низших офицеров Маруся собственноручно расстреляла. Солдаты сдавались без боя и охотно складывали винтовки, а после разъехались по домам. Маруся уехала в Александровск, а мы с оружием вернулись в Гуляй-Поле. Теперь было не страшно...» (6, 194–195).

Мрачное, смутное время простерлось над степями Украины. Власти еще издавали приказы, но их уже некому было выполнять. В местечках стояли еще гарнизоны, но солдаты отрекались от своих офицеров. То, что казалось крепким, рушилось, а то, что ютилось в темных углах, как плесень, мгновенно набиралось соками силы. Гуляй-польские привилегированные классы оказались понятливы: едва крестьянский съезд принял решение о переделе земли, как помещики разбежались, а промышленная буржуазия покорно заплатила контрибуцию. И только в Александровске все еще не понимали, что происходит. Уездный комиссар послал к Махно чиновника особых поручений, дабы пресечь исходящую из Гуляй-Поля крамолу и составить протоколы на тех, кто принимал участие в разоружении буржуазии.

Наивный человек! Возможно, именно за эту наивность, которая делала несерьезными все его распоряжения, а может, из-за сходства фамилии (уездный комиссар прозывался Михно) Махно пощадил его, когда Александровск оказался в руках большевиков, а сам Махно работал в ревкоме кем-то вроде судебного эксперта, определяя, кого из «бывших» казнить, а кого миловать.

Чиновника же особых поручений Махно вызвал в Комитет защиты революции и велел ему «в 20 минут покинуть Гуляй-Поле и в два часа – пределы его революционной территории» (51, 92). С тех пор до самой немецкой оккупации никто не беспокоил этот странный, полностью независимый район.

Нам никогда доподлинно не узнать, что происходило в эти слепые предзимние месяцы там, где кончалась нетвердая власть городов, в которых еще держался привычный порядок. Даже старые газеты не могут рассеять густой мрак, покрывший деревню: вряд ли журналисты и выбирались туда в ту пору. Какие драмы разыгрывались под пологом осенней ночи? Как делили землю? Как распределяли инвентарь? Многих ли убили? Многих ли осчастливили?

Махно пишет, что «часть кулаков и немцев-хуторян, чувствуя момент, сдались сразу революции и занялись на общих основаниях, т. е. без батраков и без права сдавать землю в аренду, устройством своей общественной жизни» (51, 176). А что сделали с теми хозяевами, которые революции не «сдались»? Мы не знаем и лишь можем предполагать, памятуя о крутых нравах времени.

Когда махновщину называют «кулацким» движением, это неверно даже с классовой точки зрения. Собственно кулацкие хозяйства, хозяйства сельской буржуазии, были осенью 1917 года самими крестьянами разграблены так же, как и помещичьи имения. Осенью же 1918-го, когда кулаки, пытаясь вернуть отобранное, выступили в поддержку гетманского режима, держащегося на немецких штыках, огромное их число было физически уничтожено отрядами крестьян-повстанцев. Таким образом, наиболее продуктивные, обустроенные, специализированные хозяйства были разгромлены. Зато за их счет остальные получали как бы равные «стартовые возможности», которые, впрочем, могли обеспечить какой-никакой уровень производства хорошему хозяину. «Черный передел» между своими – до того, как в него вмешались большевики, послав в деревню изымать хлеб вооруженных и голодных людей, – в целом-то был делом внутренним, семейным. В запальчивости, конечно, могли кому-нибудь высадить дрыном глаз, но особенно не злодействовали. Всем вместе жить, все свои. Не китайцы, не венгры, которые пришли потом. Так что «раскулаченным» оставляли и плуг, и сеялку, и веялку, по две пары лошадей, по паре коров – жить можно было. А для большевиков, которые стали просачиваться в деревню и утверждать там свою власть где-то в начале 1919 года, все единоличники, все, кто не батраки, – одинаково были кулаками, что и привело потом к тяжелым последствиям.

...Незадолго до Октября в Гуляй-Поле пришла весть о том, что комиссар Михно, в отчаянной попытке спасти уезд от анархии, арестовал в Александровске Марусю Никифорову. Махно дозвонился до него по телефону, недвусмысленно предупредил: «Если не освободишь немедленно, то знай, что в эту же ночь запалим твое имение!» (6, 195).

Михно имел мужество отказаться. Но и Махно не собирался идти на попятный. Для вызволения Маруси был сформирован из молодежи отряд человек в 60, который двинулся на Александровск. Однако на этот раз до города махновцы так и не добрались. В Пологах, едва погрузились в поезд, начальник станции показал ошеломляющую телеграмму: в Петрограде свергнуто Временное правительство! На радостях решено было вернуться домой. И хотя эта вылазка закончилась ничем, она сама по себе очень симптоматична: Махно становилось тесно в Гуляй-Поле, он натачивал зубок на Александровск, а там и на другие соседние города...

Октябрьские события докатились до Украины в ноябре-декабре. Правда, в Гуляй-Поле никаких существенных изменений не произошло: власть тут и без того была советская, земля крестьянская, и все это сделалось без большевиков и их громогласных деклараций. Вообще большевики на Украине были много слабее, чем в России, оттого и уступчивей. Пытаясь захватить власть, они активно блокировались с левыми эсерами и анархистами, которые распоряжались несколькими бестолковыми, но вооруженными с головы до ног отрядами «черной гвардии». С севера еще просачивались в подмогу им эшелоны с революционными матросами, которые, позабыв мирную жизнь и исполнившись к ней скучливого презрения, мотались на поездах по всей стране и ставили новую власть силою штыков и невероятной морской ругани. Но и старая власть не сдавала полномочий: на Правобережье, на Киевщине, Центральная рада держалась довольно крепко, на ненадежном же левом берегу воцарился полнейший хаос. Несколько властей сосуществовали и правили параллельно, но только большевики сохраняли самообладание, прежде всего начиная создавать подпольные военизированные гнезда – ревкомы, из которых должно было со временем вылупиться их политическое господство.

Махно не хотелось оставаться в стороне от этих событий. В начале декабря он едет в Екатеринослав делегатом на очередной губернский съезд Советов. Екатеринослав трясло. Здесь, пишет Махно, «была власть, еще крепко хватавшаяся за Керенского, власть украинцев, хватавшаяся за Центральную Раду... здесь была и власть каких-то нейтральных граждан, а также своеобразная власть матросов, прибывших несколькими эшелонами из Кронштадта; матросов, которые держали направление против ген. Каледина, но по пути свернули в Екатеринослав на отдых. Наконец, власть Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов, во главе которого в это время стоял анархист-синдикалист тов. Гринбаум...» (51, 104). Все эти власти претендовали на руководство и, по выражению Махно, «злостововали друг на друга и дрались между собой, втягивая в драку тружеников» (51, 100). Махно это очень раздражало. Раздражала и борьба вокруг выборов в Учредительное собрание: Махно называл ее «картежной игрой политических партий» и, по возвращении в Гуляй-Поле, убеждал членов анархистской группы отказаться от поддержки на выборах эсеров и большевиков, ибо после увиденного никому уже не желает оказывать содействия. Не удовлетворил его и съезд Советов. «Характерно в этом съезде, что все, что он постановил в своих резолюциях, у нас в Гуляй-польском районе за 3–4 месяца до того было проведено в жизнь» (51, 106). Единственная удача – несколько ящиков винтовок, полученных от федерации анархистов, которая, в свою очередь, получила их от большевиков, вооружавших всех, кто мог помочь им против Украинской рады.

Вернувшись в Гуляй-Поле, Махно, однако, недолго оставался на месте. В последних числах декабря он с довольно большим отрядом появляется в Александровске. Сам Махно пишет, что выступление было вызвано известием о том, что войска Центральной рады заняли Кичкасский мост через Днепр, чтобы пропустить на Дон к Каледину несколько снявшихся с германского фронта эшелонов с казаками. Получив эту весть, Гуляй-польский совет заседал чуть не целый день и в конце концов решил выступить на стороне большевиков вместе с красногвардейским отрядом некоего Богданова, который пытался отбить мост и задержать эшелоны.

Эти обстоятельства проливают свет на совершенно темную для современного читателя подробность романа «Тихий Дон», когда Мелехов, возвращаясь с фронта, из теплушки наблюдает бой украинцев с анархистами: «украинцы», как становится понятно, – это войска Центральной рады, «анархисты» же – отряд вроде махновского или «черной гвардии» Маруси Никифоровой. Характерно, что Махно однозначно определяет намерения казаков – двигаться не просто на Дон, но непременно к Каледину, – повторяя тем самым один из самых расхожих революционных мифов о коренной, глубинной контрреволюционности

казачества. И действительно, с казаками революционеры хоть и заигрывали, но в целом отношение к ним было настолько унизительно-подозрительным, что уже по этому одному не могло разрешиться миром. Верхнедонское восстание – по духу отчасти напоминавшее махновщину, но, как и всякое незрелое народное движение, оказавшееся под чужими, в данном случае белыми, знаменами, – вспыхнуло зимой 1919 года никак не из-за того, что казачество не приняло революционных преобразований. Оно их ждало, но не дождалось. Власть Советов утверждала себя нахраписто – путем интриг и демагогии, силы и грубой лести, совсем не считаясь с чаяниями и нуждами населения донских станиц. После восстания партийная пресса больше не сдерживалась и поливала казаков с разнузданной и трусливой яростью исчерпавшего аргументы пропагандиста. «Стоимиллионный российский пролетариат не имеет никакого морального права применить к Дону великодушие, – металлическим тоном военного приказа требовали харьковские „Известия“ (№ 16, 8 февраля 1919 г.). – Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. „Всепотрясающие“ и всевеликие конные казацки полчища должны быть ликвидированы. Казачество необходимо обезлошадить... Реакционное брюхо Дона должно быть вскрыто...»

Выступая против казаков, гуляй-польцы еще не знали, что и сами, только в иных выражениях, будут новой властью прокляты и без пощады усмирены и что летом 1921-го, ища спасения от преследователей, Махно с последней надеждой кинется в становище «врагов», в сторону Кубани и Дона – но никто уже на этой выжженной земле не отзовется ему.

Отряду Богданова и гуляй-польцам удалось захватить Кичкасский мост, и 7 января 1918 года здесь начались переговоры с казаками. Казаки сдавать оружие отказались, заявив, что их 18 эшелонов и сил пробиться у них хватит. Ночью случился бой, который при желании может быть истолкован в героическом для революционных сил плане, но на самом деле, конечно, он был решен неохотой казаков получить случайную пулю по дороге домой. На следующий день они согласились сдать винтовки и проходить лишь с седлами и лошадьми. Самое удивительное, что разоружение фронтовиков, для которых за несколько лет война стала второй профессией, произвел отряд, в котором, начиная с командира, никто не знал толком, как обращаться с оружием. Правда, вид у черноговардейцев «был страшен и суров: пулеметные ленты с патронами на плечах, за поясами торчало по два револьвера, из голенища выглядывали чеченские кинжалы... Но толку было мало. Никто не обучен. Все, знающие военное дело, бросив фронт, сидели по домам» (6, 196–197). Тем не менее бойцы отряда чувствовали себя хозяевами положения. Офицеров, которые не хотели срывать погоны и сдавать револьверы, без особой злобы бросали с моста в Днепр... Казаки простояли в Александровске еще пять дней, подвергаясь усиленной обработке большевистских и левозеро-вских агитаторов, обещавших Дону широчайшую автономию, потом, оставив на улицах кучи конского навоза, ушли. В знак возвращения к нормальной жизни ревком наложил на городскую буржуазию контрибуцию в 18 миллионов рублей.

Читателю будет, может быть, странно узнать, что к героическим этим событиям Нестор Махно не имел почти никакого отношения. Командовать отрядом гуляй-польцев он заробел – должность командира принял старший брат Махно Савелий. Сам же он пристроился при ревкоме (где состояла и Маруся Никифорова) на должность и незаметную, и неблагодарную – разбирать дела «врагов революции», которых наарестовал Богданов и которые, как скот, томились в арестантских вагонах, прицепленных к эшелону его отряда. Среди арестованных оказались провокатор Петр Шаровский и уездный комиссар Михно. Первого изобличили и подвели под расстрел, второго за либерализм выпустили. Осудить на смерть бывшего прокурора и начальника уездной милиции ревком все же не дал: как был убежден Махно, из страха перед местной буржуазией.

На своей бумажной должности Махно превращался во вполне обычного провинциального советского уполномоченного. Какая-то власть у него была, но в то же время он кру-

гом был зависим: от ревкома, от Богданова, от Маруси Никифоровой, от *большинства*, волю которого он должен был исполнять. А ему, между тем, все меньше нравились устанавливающиеся порядки. Не нравилось, прежде всего, с каким ревнивым ожесточением дрались за власть большевики и левые эсеры, которые, «разобравшись» с пленниками Богданова, начали серию новых арестов – на этот раз правых социалистов. Число узников тюрьмы опять выросло настолько, что ведать ее делами был приставлен специальный комиссар. Махно ничего изменить не мог, но бесился: «народовластие», осуществляемое через партийных чиновников, отвращало его. Не столько даже аресты меньшевиков и эсеров были отвратительны, но – тюрьма. Его первая тюрьма. Он пишет:

«У меня нередко являлось желание взорвать тюрьму, но ни одного разу не удалось достать достаточное количество динамита и пироксилина для этого. Я не раз говорил об этом левому эсеру Миргородскому и Никифоровой, но они оба испугались и старались меня завалить работой... Я брался за всякую работу, которую комитет на меня взваливал, и делал ее до конца. Но быть волом, видя, что за твоей спиной черт знает что творится, было не в моем характере... Уже теперь, – говорил я друзьям, – видно, что свободой пользуется не народ, а партии. Не партии будут служить народу, а народ – партиям. Уже теперь мы видим, что в делах народа упоминается одно лишь его имя, а вершат дела партии» (51, 138–141). Получение из Гуляй-Поля телеграммы о появлении в селе отряда Центральной рады дало Махно благовидный повод заявить о своем выходе из ревкома и вместе с отрядом убраться прочь из Александровска, чтобы начинать «подлинную революцию» в деревне.

Воочию увиденная Махно «диктатура пролетариата», осуществляемая как партийная диктатура, для народной революции явно не подходила. Что же взамен? Демократия узка, слишком добропорядочна, нетороплива, «буржуазна»: ни одной нотки сожаления по поводу разгона Учредительного собрания мы не найдем у Махно. Он видит прямое, непосредственное творение революции народом через свободные от партийных влияний Советы. На уровне Гуляй-Поля эта программа казалась вполне осуществимой. Что должен делать революционер? У Волина, позже ведавшего всей культработой в махновском Реввоенсовете, на этот счет прямо: помогать идеями, опытом (но не руководить!), работать «непосредственно в народе» (95, 175). Обаятельнейшая идея! Впрочем, надо отдать должное, многие искренне старались приблизиться к этому идеалу. Махно, например, раза два в неделю ездил работать в сельскохозяйственную коммуну, устроенную батраками и рабочими неподалеку от Гуляй-Поля. Сама идея коммун, кстати, не из большевистского, а из народнического, анархистского, толстовского обихода (у Пильняка в романе «Голый год» синеглазый анархист Юзеф, к примеру, из таких вот коммунаров). Большевики же ее позаимствовали было на время, да потом бросили: слишком много позволяли себе добровольные коммуны самостоятельности, недостаточно партийно устремлялись в светлое будущее. Поэтому уже в двадцатые годы большинство из них придушили, а перед коллективизацией задавили последние.

Поскольку коммунам отрезалась земля и выделялась часть захваченного в усадьбах инвентаря и скота, против этой затеи выступали некоторые единоличники. Однако, пишет Махно, такое мнение «на всех съездах резко осуждалось» (51, 176). Мы не можем проверить, насколько он здесь искренен. Но, как показали дальнейшие события, коммунистические симпатии крестьян и их приверженность к анархизму в начале 1918-го, покуда не пришли немцы и не вернули старые порядки, были далеко не так крепки, как Махно хотелось бы верить. Впрочем, мы глубоко заблуждались бы, думая, что в начале 1918 года Гуляй-Поле было той «столицей анархии», а Махно ее столь же безраздельным хозяином, как это оказалось в 1919-м. Его авторитет оспаривали ораторы различных партий; в том числе как-то раз схлестнулся с ним на митинге большевик, местный уроженец, тоже кучеров сын и с Махно почти одноклассник Михаил Полонский. Через год судьба столкнула их насмерть, а пока что клеймил Нестора за анархистскую демагогию ладный матросик, что так и ходил

по селу в революционной флотской форме и бескозырочке с названием черноморского крейсера – «Иоанн Златоуст». Крестьяне же, размежевав землю и поделив захваченный осенью инвентарь, к политике утратили всяческий интерес и предоставляли ораторам спорить до хрипоты.

Меж тем поспевала катастрофа Бреста. Центральная рада, как известно, подписала с немцами Брестский мир отдельно от Советской России. Довольные немцы прозвали его «хлебным миром»: по этому договору до 1 июля 1919 года Украина обязывалась поставить в голодающую Германию 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, миллион гусей, 30 тысяч живых овец и т. д. Но до июля нужно было еще дожить: немцы ведь прекрасно знали, что подписывают договор с правительством, бежавшим из своей столицы, и у них не было иллюзий относительно возможностей Центральной рады покончить с революционными беспорядками на Украине. Но зато они не сомневались в своих силах: 1 марта 1918 года Центральная рада вернулась в Киев вместе с немецкими войсками.

К концу апреля немцы и австро-венгры оккупировали всю Украину. Разрозненные большевистские, левоэсеровские и анархистские отряды пытались оказывать им сопротивление, но бывали неизменно биты и откатывались все дальше на восток. В этот отчаянный момент Махно вновь решил поддержать большевиков: в Гуляй-Поле был организован крепкий батальон из бывших регулярных солдат. Махно связался с начальником красных резервных войск Беленкевичем и предложил свои услуги в обмен на вооружение. Беленкевич, не скупясь, отгрузил шесть орудий, три тысячи винтовок, два вагона патронов и девять вагонов снарядов. Но все это так и осталось незадействованным.

В начале апреля Махно вызвал в свой штаб тогдашний командующий Южным фронтом Павел Егоров – видимо, чтобы дать ему оперативное предписание, – но в сумятице отступления Махно штаб потерял и ездил от станции к станции в поисках его следов. Тем временем в Гуляй-Поле вызрела измена. 16 апреля в село вошел отряд Центральной рады. «Вольный батальон» не оказал сопротивления и разошелся по домам. Более того, входившая в состав батальона еврейская рота помогала в аресте членов ревкома и совета, разоружила членов анархистской группы, разгромила ее помещение. С особенным чувством, как о неслыханном кощунстве, пишет Махно о том, что один из членов группы, Лев Шнейдер, участвовал в этом разгроме, топтал и рвал портреты Кропоткина и Бакунина, анархистские книги. Еще через несколько дней село было занято немцами.

Весть об измене настигла Махно на станции Цареконстантиновка. Воистину, к такому повороту событий он не был готов. С Махно случилась истерика, потом он впал в забытие и долго спал на коленях какого-то красногвардейца...

Зубки прорезываются

«Помню, я проходил по базару-толкучке с намерением купить исподнее белье, чтобы после трех недель переодеться...» (53, 27). Пусть эта фраза, случайно оброненная Махно в воспоминаниях, послужит нам камертоном в разговоре о событиях весны 1918 года. Нельзя ничего понять о Гражданской войне, следуя героическим стереотипам – будь то героика Перекопа или «Ледяного похода» белых. Изнанка военной романтики – монотонное, неотвратимое бедствие и беспомощная гибель миллионов, остановившиеся заводы, голод, нищета, всесилие чиновников-распределителей, «комиссародержавие», смертоносные, неостановимые без лекарств эпидемии, дикая усталость, пыль, грязь, рваные сапоги, белье, гниющее на теле, и – ожесточение, душевное оскудение, опустошенность...

В апреле 1918 года впервые обнаружился ужас Гражданской войны, которая до этого очень многим представлялась лишь в романтическом свете восстания мирового пролетариата. Немецкие солдаты не восстали, ступив на революционную землю Украины, но зато вскрылась и вылезла на поверхность собственная мразь: бездарность партийных вожаков, беспомощность властей, трусость, мелкая мстительность... Немецкое наступление словно метлой вымело с Украины всех, кто связал свою судьбу с Октябрьской революцией, – теперь эти люди отрядами и поодиночке хлынули на Таганрог и Ростов, где еще держалась советская власть, хотя дни ее и здесь были сочтены. Ростов готовился к эвакуации, свирепствовали грабежи, предсовнаркома Донской области и начальник чрезвычайного штаба обороны Подтелков, как пишет Махно, «переселился уже из особняка в вагон при двух паровозах на полных парах» (53, 31). Фронта толком не было – как не было еще и украинской Красной армии. То, что называлось красной гвардией и было буквальным исполнением завета Маркса об упразднении «стоящих над народом» регулярных войск и замене их «всеобщим вооружением народа», – выявило свою полную беспомощность перед лицом немцев. Какие-то отряды еще продолжали драться на бродячих фронтах, другие панически бросались в тыл, их разоружали, отсылали на фронт или отправляли на перековку дальше – в Царицын.

Отступая в общей каше, Махно попал сначала в Таганрог, где встретил много своих: двух братьев, Савелия и Григория, Алексея Марченко, из которого впоследствии вырос не знающий страха дерзкий партизан, Семена Каретника, который командовал Повстанческой армией во время взятия Крыма, путиловца Бориса Веретельникова, который из Петрограда вернулся в родные места, чтобы взяться за дело революции по-рабочему, – и еще много анархистов и сочувствующих. В помещении таганрогской анархистской федерации состоялась сходка, не без претензии названная Махно в мемуарах «таганрогской конференцией». Решали, что делать дальше, коль вышел такой разгром и конфузия. Условились разъехаться и осмотреться, где, что и как происходит, а к июню, к началу полевых работ, возвращаться домой, начинать беспощадный индивидуальный террор против оккупантов и тех, кто заодно с ними окажется, – и поднимать восстание. Борис Веретельников с кем-то поехал в Петроград, Махно же нацелился на Москву, где были у него знакомые, у которых ему желалось повызывать кое-что...

В этом путешествии – через Ростов и Тихорецкую поездом на Царицын, оттуда пароходом до Саратова и вниз до Астрахани (где Махно неделю проработал в агитотделе краевого астраханского Совета), потом назад в Саратов и уж оттуда через Тамбов в Москву – Махно многое повидал и осмыслил. И хотя историки на это путешествие, как правило, обращают мало внимания, как на своего рода паузу в истории махновщины, – мне-то как раз кажется, что никакой паузы нет, что за это время Махно и сложился как политическая фигура.

Сейчас все отчетливее видно, что весна и лето 1918 года были для революции последним переломом: если когда-либо страной и был сделан выбор в пользу тоталитаризма, то,

конечно, не в двадцать девятом и не в тридцать седьмом, а именно тогда. Впрочем, большевики свой выбор тоталитаризмом не называли – и слова такого еще не было. Просто шла речь о создании системы, способной с наибольшей эффективностью противостоять внешнему и внутреннему врагу, который необыкновенно умножился после окончательного разрыва большевиков с демократическими партиями меньшевиков и эсеров и с началом наступления на крестьянство. А то, что эта система требовала диктатуры, усекновения декларируемых свобод, давления на органы народной власти, советы, репрессий по отношению к политическим оппонентам справа и слева – так что ж, господа: мы не белоручки, мы революционные практики, да-с... Анархисты и левые эсеры все это время обвиняли большевиков в отступничестве, в измене принципам 1917 года. Большевики, в свою очередь, заклеили их контрой: пока вы будете орать о народоправстве, об «истинной» советской власти, придут белые и немцы и свернут и вам, и нам шею... По-своему большевики были правы: после разрыва с демократией, с началом Гражданской войны у России, по-видимому, уже не было выбора: в ней так или иначе должна была возобладать «сильная власть», диктаторский режим или белого, или красного толка. Но революционным романтикам, которые хотели видеть в революции торжество свободы и справедливости, конечно, не хотелось в это верить. Они все еще полны решимости повернуть революцию на «истинный путь»...

Махно – безусловно из их числа.

Первый конфликт с властями у него вышел из-за попытки большевиков разоружить отряд Маруси Никифоровой, который, подобно многим другим, разным по партийной «приписке» формированиям, в разгар боев явился в Таганрог на отдых. Махно пишет, что большевики терпели анархистов, пока те «оставались на боевых фронтах до издыхания» (53, 14), но в случае появления в тылу их старались поскорее разоружить. Положение усугублялось тем, что в Таганроге находилось бежавшее из Харькова украинское советское правительство, которому не нравилось близкое присутствие своевольной мелкобуржуазной «нечисти». Никифорову арестовали в помещении украинского ЦИКа Советов в присутствии Махно и председателя ЦИКа большевика Затонского, отряд разоружили. Бойцы, однако, не разбежались, а при поддержке местных анархистов и левых эсеров стали требовать вернуть им командира. Махно послал командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко запрос относительно Никифоровой. Поскольку ее отряд был в числе немногих боеспособных, тот ответил вполне определенно: «Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и т. Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того, чтобы заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их» (53, 15). Позднее Антонов-Овсеенко не без иронии окрестил Марусю Никифорову «энергичной и бестолковой воительницей» (1, т. 4, 96), так что приведенную характеристику можно считать завышенной. Несомненно одно: давая ее, Антонов-Овсеенко, как человек принципиальный и честный, прежде всего заботился о судьбах фронта, а в происшедшем чувствовал какую-то не совсем чистую политическую игру.

Заваривался скандал. Выразить «свой протест зарвавшимся за спиной революционного фронта властям» (53, 15) в Таганрог пришел бронепоезд под командой анархиста Гарина. Поскольку властям действительно нужно было как-то оправдать свои действия, Никифорову решено было судить. Практика судебных расправ над политическими противниками тогда еще была далека от совершенства, особенно мучительно вырабатывался стандарт обвинений революционного суда против революционеров же. Впрочем, были ли мучения? Анархистов с весны 1918 года разоружали, судили и иначе дискриминировали по стандартному обвинению в уголовщине или в покровительстве ей – именно под этой маркой произошел разгром анархистских организаций в Москве и в Петрограде в апреле 1918 года. Правда в этих обвинениях присутствовала, но лицемерие властей, пытавшихся уголовным уложением прикрыть свои политические интересы, было все-таки столь очевидно, что, когда

ЦК левых эсеров заслушивал доклад «своего» чекиста Закса о разгроме московского «Дома анархии» в ночь с 12 на 13 апреля и поголовном «профилактическом» аресте всех анархистов для выявления уголовного элемента, Мария Спиридонова, как говорили, не захотела даже слушать этот доклад и, возмущенная, покинула зал.

Марусе Никифоровой тоже, естественно, инкриминировалась уголовщина, но крупномасштабная: разграбление ее отрядом Елисаветграда во время взятия города у войск Центральной рады. Правда, суд над нею был открытым, и судьи – два большевика и два левых эсера – полностью оправдали ее, постановив, что «осудить Никифорову за разграбление г. Елисаветграда нет никаких оснований»⁸ (53, 17). Ей вернули отряд, вооружение и отправили на фронт. Махно же в мемуарах скрупулезно отмечает, что написал по этому поводу листовку, «которая изобличала центральную украинскую советскую власть и командира Каскина в фальсификации дела против Никифоровой и лицемерно подлом отношении к самой Революции» (53, 17).

Направляясь в Москву, Махно с кем-то из своих перебрался сначала в Ростов, сунулся было, как всегда, в Дом анархистов, но, увидев и там поплывание в потолок лежащих на роскошной мебели «заслуженных работников движения», задерживаться не стал, а, зачислившись в команду артиллерийского эшелона «под командой симпатизировавшего анархистам товарища Пашечникова» (53, 30), решил двигаться на Царицын, через который шел в Россию весь поток беженцев с Украины.

Товарищ Пашечников и в самом деле не чужд был некоторого романтизма: на Тихорецкой он послал людей из команды эшелона на базар за продуктами, «рассчитывая на недавнее еще право каждого красногвардейского отряда иногда совсем не платить торговцам, а если платить, то одну треть стоимости» (53, 32). Но тихорецкие лавочники, почувствовав, что «товарищи» явно залетные и к тому же отступающие, грабить себя не дали и учинили возмущение, которое закончилось тем, что эшелон Пашечникова был оцеплен красными войсками и блокирован. Махно вместе с анархистом Васильевым пошел объясняться с властями. «Власти нас арестовали, – пишет Махно, – и в вежливой форме заявили, что мы подлежим расстрелу в военном порядке» (53, 33). Только сильнейший скандал, учиненный приговоренными к смерти, спас их от уготованной им участи. И хотя этот случай может рассматриваться просто как курьез, сам-то Махно, упоминая о нем, начинал его политическим смыслом: действия властей возмущают его, поскольку ограничивают святое право революционера действовать любыми методами «во имя революции». То самое право, которым в октябре семнадцатого все пользовались в равной степени, большевики теперь пытались оставить исключительно за собой: Махно улавливал в этом отзвуки процесса куда более обширного, чем базарная склока.

К весне 1918-го большевики, окрепнув, начали прибирать к рукам ту вольницу, которую они использовали для совершения своего переворота (в этом смысле интересно замечание анархиста В. Волина о том, что все части, выступившие на стороне большевиков в момент октябрьского переворота, в 1918 году были разоружены и расформированы). Не обошлось без эксцессов, даже перестрелок между красногвардейцами, привыкшими себя считать добровольцами и героями революции, и красноармейцами, которые шли им на смену, повинувшись обычной мобилизации, не претендуя ни на особые заслуги, ни на какие-то особые права. Эта страница революции совсем забыта, ее быстро перелистнула начавшаяся

⁸ Нет никакого сомнения, что «основания» отыскать было можно. Много позднее, при нападении на экспроприированном у горожан белье, Маруся покрывалась стыдливым румянцем. Гораздо интереснее другое совпадение: во время взятия Елисаветграда предводительница отряда черногогвардейцев заприметила в толпе симпатичного мальчика и, подзвав, подарила ему леденец из какой-то ближайшей лавки. Этим мальчиком был будущий поэт Арсений Тарковский, который сам рассказывал об этом эпизоде Гвении Александровне Таратуте, от которой я и узнал о нем. События Гражданской войны, «бандитов сумасшедшие обрезы» совершенно явственно проступают в стихотворении А. Тарковского «Вещи».

Гражданская война, но в апреле—мае 1918-го, когда большевистская власть избавлялась от своих первых солдат – частью потому, что они были развращены делом, которому служили, и, в прямом смысле слова, разложены революцией, частью же оттого, что хранили в душах никому уже не нужный и даже опасный дух вольности, – ситуация была еще полна драматизма. Доходило до боев местного значения. Например, в Саратове, куда Махно попал немного времени спустя, при попытке большевиков распустить организацию матросов Балтики, Черноморья и Поволжья матросы орудийным огнем разбили даже резиденцию местной власти. Но сколь бы ни были импульсивны и воинственны подобные формирования, политическая их беспомощность была очевидна, и надолго их не хватало. После коротких вспышек их неизменно разоружали и расформировывали. Неосознанный протест народа против практики зрелого большевизма политически оформился куда позже, да и то в формах, слишком несовершенных для того, чтобы противостоять сложившейся структуре тоталитарного государства, – махновщина оказалась одной из них. Пока же Махно в команде перемещающегося по огромной клочковатой стране артэшелона присматривался, приглядывался, принохивался, не без трепета чувствуя в воздухе наэлектризованность близкого конфликта между революционной властью и революционным народом. Это пьянит его, волнует, и все чаще прорывается наружу его холодная нервность. Зудят десны у будущего несравненного партизана: зубки прорезываются.

Когда на станции Котельниково эшелон товарища Пашечникова почему-то решили разоружить (а Пашечников мог бы, конечно, разоружиться, но не хотел, потому что имел категорическое предписание следовать со своими орудиями до Воронежа), Махно предложил ему «открыть орудийный и пулеметный огонь по станции, разрушить ее и расстрелять власти, которые так подло действуют во вред делу защиты революции» (53, 40). Когда команда эшелона заняла свои места у орудий и пулеметов, на станции сообразили что к чему и открыли дорогу. Где-то уже совсем неподалеку от Царицына, на станции Сарепта, Махно ввязался в какой-то митинг, призвал «найти общий революционный язык с широкой массой революционных тружеников, осадить зарвавшихся Ленина и Троцкого» и спасать революцию (53, 44). Следствием было то, что из Царицына прибыл вызванный властями конный отряд венгров-интернационалистов (перешедших на службу к большевикам военнопленных мировой войны, которые, как самые надежные и нерассуждающие солдаты, активно привлекались для разного рода карательных операций). Отряд окружил эшелон и потребовал «выдать ему всех анархистов, которые, по их сведениям, пробираются на этом эшелоне в г. Царицын» (53, 44). Товарищ Пашечников проявил дипломатичность и хитрость, заявив, что никаких анархистов под его командой нет, а есть лишь орудийная прислуга, убеждений которой он не ведает. Мадыры удовлетворились объяснением и вернулись в город. Вслед за ними в Царицын прибыл и сомнительный эшелон.

До эвакуации революционной Украины город Царицын жил тихой провинциальной жизнью: в садах играла музыка, работали кафе, и можно было на прогулке встретить кое-кого из «бывших», даже офицеров, бежавших сюда из центра от революционных потрясений. К. Е. Ворошилов, прибывший в Царицын во главе свежесформированной 5-й армии, через десять лет в не лишенном подбострастия очерке «Сталин и Красная армия» так описывал обстановку в городе: «Царицын в тот момент был переполнен контрреволюционерами всех мастей, от правых эсеров и террористов до махровых монархистов. Все эти господа до прибытия революционных отрядов с Украины чувствовали себя почти свободно и жили, выжидая лучших дней» (21, 12). Он сетует, что товарищ Сталин, прибывший в начале июня в город в качестве особого уполномоченного по продовольствию – с отрядом красноармейцев и двумя автоброневиками, – застал здесь «невероятный хаос не только в советских, профессиональных и партийных органах, но еще большую путаницу в органах военного командования» (21, 10). В общем, и тут царил полная бестолковщина, обычная для смутного вре-

мени, которая изживалась тогда однозначно – вытяжкой всей жизни по военному ранжиру, что и было товарищем Сталиным проделано путем усиленного террора. И хотя до первых многообещающих экспериментов особого уполномоченного оставался еще месяц, с прибытием «украинских революционных отрядов» жизнь в городе пошла кругом: эти отряды, в большинстве своем партизанские, привыкшие действовать автономно, нужно было свести в регулярные части. Идейное партизанчество, в свете новой политики Троцкого – формировать регулярную армию, – объявлялось крамолой. Махно замечает: «Отряды... в которых обнаруживалась „контрреволюционность“ (а для этого достаточно было, чтобы командир его был анархистом или беспартийным и имеющим свое суждение о делах новой власти революционером), разгонялись, а то и расстреливались, как это было с Петренко и с частью его отряда» (53, 39).

Случай с Петренко потряс Махно и, сдается, послужил ему уроком на всю жизнь, и, когда Махно обвиняют в какой-то злостной подозрительности и недоверчивости к большевикам, это чистая демагогия: он просто знал что почем, успел кое-что повидать. Петр Петренко был одним из первых героев Гражданской войны на Украине – в ряду таких, как анархисты Гарин и Мокроусов, большевики Степанов и Полупанов, – и отряд его, отступавший из-под Таганрога, считался одним из наиболее боеспособных. Но именно этот отряд, вследствие того, что командир его был беспартийный, председатель штаба обороны Царицына С. Минин потребовал разоружить. Петренко, сознавая свои революционные заслуги, счел требование недостойным и отказался. Против него двинули войска. Под городом завязался бой.

Махно пишет: «Какая-то жуть охватывала нас, украинских революционеров...» (53, 48). Хотелось броситься навстречу шедшим против отряда Петренко красноармейским колоннам и кричать: „Куда вы идете? Вас ведут убивать своих...“» (53, 49). «Я наблюдал начало боя, – продолжает он. – Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко было все население хутора Олыпанское и прилегающих к нему других хуторов. Оно возило хлеб, воду, соль отряду Петренко» (53, 49). Петренко отбил удар высланных против него частей, но, желая показать себя солидарным с властью, он и не думал воспользоваться победой, а ждал лишь справедливого решения вопроса об отряде. Власть предложили ему переговоры, он согласился. В конце переговоров – очевидно, в момент особенно дружеских заверений – он был схвачен и препровожден в тюрьму. Отряд же разбит на группы и разоружен. Бойцы отряда, однако, не успокоились и, по-видимому, надеялись, завладев оружием, взять город для освобождения любимого командира. Махно пишет, что отговаривал их, настаивая, однако, на том, чтобы совершить налет на тюрьму и освободить Петренко. «В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками сбить с пути чувство долга и справедливости» (53, 59). Однако осуществить эту своеобразную шутку не удалось: Петренко, как контрреволюционер, был расстрелян, а его люди «высланы на фронт».

В этой маленькой трагедии, как в зерне, заключено уже все, что в будущем прорастет грандиозной трагедией махновщины. Правда, Махно решил сломать сценарий: в том месте, где и ему, в свою очередь, надлежало быть расстрелянным, он решил победить. Однако это не избавило трагедию от положенного ей финала.

Москва

После месячного путешествия по городам Поволжья Махно очутился, наконец, в Москве. Москва ему опять не понравилась – он прямо именует ее «центром бумажной революции» и при каждом удобном случае спешит сказать свое строгое слово о «революционном генералитете». Но, во-первых, он и ехал сюда затем, чтобы повидать вождей революции, а во-вторых, потом уж тем более не мог удержаться, чтоб не охарактеризовать каждого из них, чтобы еще и еще раз показать, что он не бандит, а тоже политическая фигура, имеющая свое, так сказать, суждение. Отметим, кстати, что среди всех украинских атаманов, даже такого масштаба, как Григорьев и Зеленый, Махно выделялся именно тягой к политике и воплощенным в ней идеям. Его политический опыт, в частности, уберег махновщину от вырождения в гигантскую погромную организацию – что и произошло с дивизией Григорьева, когда она восстала против большевиков.

С вокзала, с чемоданом булок, Махно заехал сначала к профессору Алексею Боровому, кабинетному анархисту-интеллектуалу: здесь оставил булки, но задерживаться не стал, помчался сразу разыскивать любезного сердцу тюремного друга Петра Аршинова. После апрельского разгрома московской федерации анархистских групп тот отошел от сугубой политики и работал в Союзе идейной пропаганды анархизма секретарем, организуя диспуты и лекции и проживая, вернее, ночуя, в какой-то гостинице близ Театральной площади. Розыски Аршинова оставляют в памяти Махно несколько попутных впечатлений: трамвай, Настасьинский переулок, здание анархистской федерации – «помещение-сарай», в котором прежде «упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях» (53, 94). Перевод анархистов из роскошного Купеческого собрания в это строение, расположенное к тому же в многозначительной близости от Народного комиссариата внутренних дел, красноречивее всяких слов свидетельствовал о их акциях на столичной политической бирже. Махно прекрасно отдает себе в этом отчет и не может сдержать горечи и досады.

Если для Ивана Бунина («Окаянные дни») революционная Москва 1918 года – это прежде всего царство Хама, бессмысленные и озлобленные толпы, «тучи солдат с мешками», «голоса утробные, первобытные», преступные, «сахалинские» морды, семечки, Азия, газетная ложь, кривляющаяся в большевизме интеллигенция, одним словом – *вырождение* цивилизации, наблюдать которое невозможно без скрежета зубовного и нервного кожного зуда, то Махно этого всего как раз не замечает. В *этой* Москве он свой, он сам из «страшной галереи каторжников». Его мучит и преследует другое: бумага, «бумажная революция», слова, слова, слова...

Листовки, воззвания, митинги, десятки газет. В помещении московской федерации анархистов лидеры движения перекладывают кипы нераспроданной газеты «Анархия». Лекция восходящей звезды московского анархизма товарища Иуды Гроссмана-Рощина о Льве Толстом. Прекрасные, берущие за душу слова, но не более. Конференция анархистов в гостинице «Флоренция» – просто бестолковое толковище: тот же самый Гроссман-Рощин много и горячо говорил о необходимости поднимать восстание на Украине, но почему-то в последний момент отказался походатайствовать перед большевиками о переправке товарищей-анархистов через границу Украинской державы. Не желал, видимо, унижаться.

«Фактически, – уныло констатирует Махно, – не было таких людей, которые взяли бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца». И он спрашивает себя: неужели и я стану таким, как они? «Никогда, ни за что!» (53, 102).

С говорунами и писаками он равнять себя не хотел.

Без пощады и снисхождения за прежние заслуги набрасывается Махно в своих мемуарах на известного в Москве анархистского литератора и теоретика Льва Черного, с которым

познакомился, ночуя в каком-то заселенном анархистами доме, где последний был назначен комендантом и вынужден был переписывать мебель и следить за порядком в подъезде, нервничая и боясь скандалов с «квартирным комитетом» из-за того, что анархисты через закрытые ворота лезли во двор после двенадцати ночи. Махно, вероятно, знал, что Льва Черного тогда задержали повестками в суд по «делу анархистов», обвиняя в укрывательстве, знал, конечно, и то, что по сфабрикованному делу о подделке денежных знаков Черный в самом начале двадцатых годов был расстрелян в застенках ЧК. Но это не делает его снисходительнее. Махно пишет: «...человек этот обладал талантом оратора и писателя... но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство» (53, 97). «Безвольный человек», «человек-тряпка», с которым другие делают все, что захотят. «Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадается верный материал о нем» (53, 97). Навешивая на безответного Льва Черного безжалостные ярлыки, Махно, похоже, самоутверждался – всю жизнь его мучил комплекс недоучки, – изо всех сил стараясь произвести впечатление человека сильной воли, человека дела.

Тот же мотив самоутверждения звучит в оценке Л. Мартова, выступление которого Махно слышал на съезде текстильных профсоюзов: «обиженный лидер», «неискренно, но дельно говорил», «кряхтел, сопел, но оставался мало услышанным» (53, 108). Интеллигентности в политике Махно не понимал, и усилия несчастного Мартова *словом* убедить своих политических оппонентов казались ему просто смехотворными.

В когорту жалких болтунов попадает и «щелкопер Зиновьев» (53, 139). А вот Троцкого, однажды услышанного на митинге, Махно в своих мемуарах словом не обидел, уважил за деловой подход и испытанное потом на собственной шкуре революционное беспощадство.

Завершает это противопоставление себя сонмищу московских революционных словоблудов сцена визита Махно к П. А. Кропоткину, написанная Махно по классическому канону передачи сакрального знания, апостольского завета любимому ученику. Содержание разговора Махно и Кропоткина, в ту пору уже больного, глубоко разочарованного в революции, хотя и не осмеливающегося открыто ее осуждать, мы знаем только в изложении самого Махно. Известно зато, что Кропоткин в эту пору сторонился активной политической деятельности, собирався из Москвы на жительство в Дмитров. С анархистами, за исключением группы деятелей кооперации, связей не поддерживал, за серьезных людей их не считая, но тихо публиковал в прокадетской «Свободе России» статьи об английском рабочем движении, в которых и сегодня легко уловить ностальгию человека, долгое время прожившего эмигрантом в цивилизованном обществе, по культурному и неспешному ведению дел даже в таком рискованном предприятии, как революция. Именно поэтому описание встречи Махно с Кропоткиным представляется наиболее сомнительным местом во всей трилогии батькиных воспоминаний. Вчитаемся в текст: «Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. На все поставленные мной ему вопросы я получил удовлетворительные ответы. Когда я попросил у него совета насчет моего намерения перебраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив: „Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить“. Лишь во время прощания он сказал мне: „Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждает все...“» (53, 106–107).

Ей-богу, кажется, что эти великолепные банальности Махно Кропоткину просто приписал, чтобы иметь возможность далее сказать о себе: «Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в моей деятельности черты самоотверженности, твердости духа и

воли, о которых мне говорил Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера в себе самих» (53, 107).

Очень, очень серьезно относился к себе Нестор Иванович!

Но чем бы на самом деле ни закончилась встреча, для Махно это был знак великой причастности. Конечно, он не равнял себя с великими теоретиками-основоположниками, но верил, что именно ему выпала редкая удача: воплотить их теоретические построения на практике. И чем больше он общался с анархистами в Екатеринославе, в Таганроге, в Москве, тем более убеждался – именно ему...

После встречи с Кропоткиным Махно оставался в Москве еще несколько дней. Дело свое он сделал, в политической ситуации, насколько мог, разобрался и остался ею резко недоволен: революция не сделала трудящихся свободнее, она лишь подчинила их новому гнету рабоче-крестьянского государства. «Государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума, – пишет он. – Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры» (53, 109).

К левым эсерам Махно, правда, относился терпимее, чем к большевикам: трещина меж ними не ускользнула от его внимания. «Смогут ли левые эсеры пойти настолько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления об их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком?» – спрашивает Махно. И сам отвечает: «Нет. У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но очень мало тех сил, которые оказались бы достаточными для реорганизации пути революции» (53, 115–116). Политическое чутье у Махно, надо признать, было достаточно тонкое. Подоплека истерики, устроенной левыми эсерами незадолго до съезда Советов из-за Брестского мира, прогревается им с холодной ясностью: партии левых эсеров выгоднее делать вид, что конфликт происходит из-за каких-то внешнеполитических разногласий, чем согласиться с тем, что «большевики, окрепшие за счет левых эсеров... взяли перевес над ними и теперь, не нуждаясь более в них... стараются всосать их в свою партию или просто ликвидировать» (53, 117).

Задержись Махно в Москве буквально дней на десять – он стал бы свидетелем этой самой «ликвидации», случившейся 6 июля. Но тут случилось событие, которое окончательно определило его судьбу и ускорило отъезд на Украину, – встреча с Лениным.

Событие это, представляющееся многим историкам замечательным – особенно в силу, так сказать, несопоставимости, контраста оказавшихся рядом фигур, – на самом деле было чистой случайностью и, в общем-то, заурядностью, которая наверняка бы забылась, если бы не крестьянская кропотливость, с которой Махно в мемуарах фиксировал все, что произошло с ним замечательного. В биографической хронике жизни Ленина этого события нет – что, однако, не значит, что Махно врет. Во-первых, «хроника» страдает явными пробелами, а во-вторых, из того, что интересовало Ленина в двадцатых числах июня, когда Махно очутился в кремлевском кабинете председателя Совета народных комиссаров, как раз и явствует, что встреча эта, встреча с товарищем с революционной Украины, была совершенно в русле тогдашних интересов Ленина.

Украина его интересовала по двум причинам. С одной стороны, чтобы выжить, нужно было поддерживать мир с немцами и правительством гетмана Скоропадского, с которым как раз шли тогда мирные переговоры. С другой стороны, чтобы выжить, эту самую Украину нужно было как можно скорее, вместе с немцами и гетманом, подпалить огнем восстания – уверен, что Ленин мечтал об этом не менее страстно, чем самый ярый анархист или левый эсер, – ибо там был хлеб. Хлеб! Наваждение голодного 1918 года. О хлебе насущном Ленин думает непрерывно: то размышляет «об организации показательной заготовки хлеба в одном каком-нибудь уезде в виде опыта» (45, 556), то наркому продовольствия Цюрупе «выражает недовольство отсутствием литературы по борьбе с голодом» (45, 558), то, отды-

хая с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой в бывшем имении Мальце-Бродово, рассуждает о желательности создания под Москвой совхозов для снабжения города продуктами, то жадно расспрашивает приезжих тамбовчан о борьбе с кулачеством, досадуя на нехватку продотрядов и организаторов.

Не позднее 26 июня «Ленин беседует (у себя на квартире) с Е. Б. Бош, работавшей на Украине, расспрашивает о ее работе, о создавшемся положении в связи с оккупацией немцами Украины, об отношении крестьянства к Советской власти» (45, 569). В эти же дни и состоялся, очевидно, разговор Ленина с Махно на ту же самую тему: Украина манила его, там был хлеб, горы хлеба.

Махно для встречи с Лениным не прикладывал ни малейших сознательных усилий и, конечно, о ней не помышлял. Всем руководил исключительно случай. Дело было, собственно, в том, что Аршинов поселил Махно в гостинице Крестьянской секции ВЦИКа, которой заведовал его, как говорили тогда, «однопроцессник» (то есть проходивший с ним когда-то по одному политическому процессу) товарищ Бурцев. Но, видно, число подобных Махно протеже, революционеров мутной воды и невнятной огранки, проводивших свои дни в кромешном безделье, было столь велико, что, глядя на них, товарищ Бурцев начал потихонечку перекрашиваться из анархизма в левое эсерство, заметно нервничать и томиться. Махно это почувствовал и тактично съехал из гостиницы, а чтобы где-то жить, направился в Моссовет, чтобы получить ордер на бесплатную комнату. Далее с ним произошло именно то, что происходит со всяким советским человеком, перед которым встает квартирный вопрос: он был ввергнут в пучину бесконечных бюрократических процедур, в пучину того самого бреда, который еще в конце двадцатых годов с такой оптимистичной иронией воспринимался авторами «Двенадцати стульев». Ситуация, действительно, не лишена была комизма: ну в какой еще стране поиски комнаты завершились бы встречей с главой правительства? Поистине, ни в какой.

Ордера в Моссовете Махно не получил. «В Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, во ВЦИК Советов, где я должен, де, предъявить свои документы, и уже тогда ВЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский Совет может дать мне ордер» (53, 119). Блуждая по Кремлю, Махно забрел, по-видимому, в помещения ЦК большевиков, откуда кто-то (возможно, Бухарин) любезно вывел его в коридоры ВЦИКа и передал какому-то секретарю. Секретарь порасспросил его и, узнав, что товарищ с Украины, доложил Свердлову. Свердлов, председатель ВЦИКа, пожелал видеть его, велел говорить. Махно принялся рассказывать, но Свердлов вскоре оборвал его:

«— Что вы, товарищ, говорите... Ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады».

«Я рассмеялся, — пишет Махно, — и не слишком распространно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляй-Польском районе... Т. Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить:

— Почему же они не поддержали наших отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом...» (53, 122).

Махно занервничал: в эти отряды, которые действовали только по линиям железных дорог, не решаясь даже на 10–20 километров оторваться от эшелона, крестьянство не верило и верить не могло... Зачем же валить с больной головы на здоровую?

Свердлов согласился. Приглядываясь к Махно, он под конец спросил: «Но скажите мне — кто вы такой, коммунист или левый эсер?» (53, 124).

Махно хотел было прикинуться «беспартийным революционером», но в конце концов признался, что анархист. Свердлов удивился и сказал, что его сообщение о положении на Украине с удовольствием выслушал бы сам Ленин. Встреча была назначена на следующий день. Лидер большевиков задавал быстрые, конкретные вопросы: кто, откуда, как реагиру-

вали крестьяне на лозунг «Вся власть Советам!», бунтовали ли против Рады и немцев, а если да, то чего не доставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместное восстание? Махно отвечал, чувствуя, по собственному признанию, благоговение перед Лениным. По поводу лозунга «Вся власть Советам!» Махно старательно объяснил, что этот лозунг понимает именно в том смысле, что власть – Советам. Ленин еще и еще раз просил уточнить. Махно сформулировал: «Власть должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся» (53, 127).

– В таком случае крестьянство ваших местностей заражено анархизмом, – подумав, заметил Ленин.

– А разве это плохо? – спросил Махно.

– Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью.

Ленин, по-видимому, остался доволен беседой: анархизм крестьян он считал временной и быстроизлечимой болезнью. Военные неудачи, приходилось признать, были неизбежны, но в них заключался урок – поступившись революционной романтикой, строить регулярную армию. На плечах крестьянского восстания ворваться на Украину и...

Нас же скорее заинтересует другое – глубокая неосведомленность двух первых фигур в государстве относительно того, что происходит в стране. И дело даже не в скудости оперативной информации, а в незнании более существенном, происходящем от поспешности, поверхностности мышления обоих, которая хоть и была вполне объяснима в эти переполненные трагическими событиями дни, но, независимо от этого, порождала предвзятости и политические штампы (крестьяне – кулаки и шовинисты), чреватые реками человеческой крови. Украину большевики так и не поняли, что позднее явилось причиной грандиозной катастрофы 1919 года, – потому что не хотели понять, искали только своей партийной выгоды, мерили только своим аршином.

Советский историк М. И. Кубанин, автор единственного в советской историографии настоящего исследования о махновщине, вышедшего мизерным тиражом в конце двадцатых годов, блестяще именно с марксистских позиций проанализировав хозяйство махновского района, с необыкновенной ясностью объяснил, почему именно здесь, на Левобережной Украине, могло зародиться мощное крестьянское движение, которое, приняв лозунги революции, оказалось, в конце концов, в оппозиции не только к белым, но и к красным. В исследовании Кубанина содержится именно то, чего Ленин и Свердлов не знали, хотя и должны были знать, устраивая революцию в стране, 9/10 населения которой составляли крестьяне, вкладывавшие в происходящее свой, отличный от кабинетно-большевистского, смысл.

Принципиальный вывод Кубанина заключается в том, что наибольшую антибольшевистскую активность в годы Гражданской войны показали как раз те области России и Украины, которые в 1905–1907 годах, а также осенью 1917-го были наиболее революционными. В «махновских» губерниях (Екатеринославской, части Полтавской и Таврической) крестьяне жили зажиточнее, чем на остальной территории Украины, имели больше сельскохозяйственных машин, активно производили хлеб на продажу (более половины урожая шло на рынок, тогда как в среднем по Украине эта доля составляла от 25 до 30 процентов). Стремление владеть землей до революции выражалось здесь в скупке крестьянами земли у помещиков, а после – в активном «черном переделе», то есть грабеже. В селах Левобережья было мало бедноты, на которую делали ставку большевики в своей аграрной политике: разорившиеся крестьяне «отсасывались» предприятиями городов и шахтерских районов. Тесная связь с Россией, с русскими объясняла то, что националистические лозунги украинских правительств на Левобережье не были, в общем, поддержаны. Не было здесь и того махрового антисемитизма, которым отмечен весь ход Гражданской войны на Украине. Если в сопредельных обла-

стях еврей олицетворял собою ненавистного крестьянину разорителя-перекупщика (до 98 процентов торговцев сельхозпродуктами были евреи), то здесь, в степных губерниях, соотношение было иное: евреи, как и украинцы, в поте лица своего работали на земле, и отношение к ним было вполне свойское. Богатство крестьян Левобережья сказалось потом решительным образом: нигде за всю историю Гражданской войны крестьянству для защиты своих интересов не удавалось создать организацию, по силе равную махновщине, нигде, разве что в Тамбовской губернии, очаге антоновщины, не сопротивлялось оно с таким остервенением государственному вмешательству в свои дела...

Встреча Махно с Лениным закончилась. Владимир Ильич предложил Махно воспользоваться большевистскими каналами для проникновения на Украину. Для этого Махно был отправлен к товарищу Затонскому, члену конспиративной «девятки» – своего рода украинского советского правительства в изгнании, который ведал выдачей фальшивых паспортов. История и здесь иронична: Махно помогал тот самый человек, который затем изо всех сил старался его уничтожить. Затонский предложил Махно воспользоваться партийными адресами и явками в Харькове. Но Махно отказался: он нацеливался на Гуляй-Поле. Больше работать на других он не хотел. Он хотел делать свою революцию.

Восстание

В начале июля 1918 года Махно перешел границу Украинской державы по подложному паспорту на имя Ивана Яковлевича Шепеля, учителя из Екатеринославской губернии. В Харькове ему с трудом удалось сесть на поезд: в согласии с последними веяниями, проводник требовал от проезжего внятного, по всем правилам украинской мовы, объяснения, но Махно украинский язык забыл и говорил запинаясь. За то время, что он путешествовал, порядки на Украине изменились в корне: меньшевистско-эсеровское правительство Центральной рады, с которым немцы заключили мирное соглашение, использованное ими как повод для начала оккупации Украины, было теми же немцами разогнано и даже частично отдано под суд за идиотское похищение банкира Доброго. Похищение было организовано премьер-министром Центральной рады студентом третьего курса Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел Ткаченко (охарактеризован одним из современников как «мелкий авантюрист и интриган») в знак протеста против того, что генерал Герман фон Эйхгорн, командующий группой армий «Киев», отменил универсал Рады о социализации земли. Суд смахивал на трагифарс. Прокурор, типичный прусский служака, третировал бывших министров как мальчишек, с наслаждением им выговаривая:

– Когда с вами разговаривает прокурор, вы должны стоять ровно и не держать руки в карманах...

Голубович не выдержал, с ним сделалась истерика, он разрыдался – пришлось устроить перерыв, чтобы успокоить премьера. Успокоившись, он сознался суду в своей причастности к похищению Доброго и обещал больше никогда так не делать. Прокурор не смог сдержать сарказма:

– Я не думаю, что вам вновь когда-нибудь придется стоять во главе правительства...

На место Центральной рады немцами было посажено правительство гетмана Павла Петровича Скоропадского, генерал-лейтенанта, крупного землевладельца, крепко приверженного дореволюционным идеалам. Повсеместно возрождалось старое уложение жизни. В том числе возврату прежним владельцам подлежала земля, переделенная осенью 1917-го. Крестьяне должны были вернуть кулакам и помещикам также скот, инвентарь и, сверх того, за счет будущего урожая компенсировать невосполнимые убытки, причиненные в ходе дележа. К этому добавлялась еще необходимость выплачивать оккупантам репарации по мирному договору, поставлять хлеб, скот, птицу – которые, естественно, тоже выжимались из деревни. На хлеб оккупационными властями была установлена твердая цена, но крестьяне, затаив лютую злобу, хлеб зажали. Правительство вынуждено было прибегнуть к принудительным «закупкам»: толку вышло немного, но злоба расширилась, и если в городах, несмотря на дерзкое убийство левыми эсерами генерала Эйхгорна, все-таки держался строгий немецкий порядок, то в деревне вновь под покровом ночи разверзалась какая-то кровавая жуть. «В Екатеринославском уезде совершено вооруженное нападение на имение Герсевановой, – писала газета „Слово“. – Взорван дом, убиты управляющий и сторож, ранены девушка и двое детей» (40, 38). «Нападение на дом Конько сопровождалось убийством 7 человек. Убит управляющий имением Ивакин. Ограблено 20 000 рублей у помещика Бутько... В имении Литвинова вырезан весь состав служащих» (39, 38). «В Верхнеднепровском уезде грабителями убиты Перетятко и вся его семья. При нападении на дом Сендеря ограблено 2000 рублей. В Славяносербском уезде ограблена и расстреляна семья Неказанова» (40, 39).

Вряд ли эти убийства совершались непосредственно крестьянами: тут чувствуется холодный расчет, твердая рука преступников или профессиональных революционеров, начавших осуществлять «аграрный террор» по подобию 1905–1907 годов. Перечисленные злодеяния – как бы изнанка той революционной «работы», о которой пишет Махно в третьем

томе своих воспоминаний, усердно идеологически ее оправдывая и разъясняя. Но, каковы бы ни были мотивы, деяния Махно и организованного им отряда, без сомнения, могли бы существенно пополнить этот газетный перечень. Сам Махно рассказывает о своих подвигах мало и уклончиво, боясь себя скомпрометировать, но местами он начинает собой любоваться и тут ненароком что-нибудь выдает. Так что, несмотря на крайнюю скудость и сомнительную достоверность сведений об этом периоде махновщины, кое-что нам все-таки известно.

Приехав на Украину, Махно поселился неподалеку от Гуляй-Поля на чердаке у некоего Захария Клешни, где он отлежался, выслушал новости и сочинил несколько пламенных писем к односельчанам, не без достоинства подписав их: «Ваш Нестор Иванович» (54, 7). Переодевшись бабой, сходил поглядеть на родное село. В Гуляй-Поле стоял мадьярский батальон с командой из офицеров-австрийцев. Дом матери Махно оккупанты сожгли, как и дома других смутьянов семнадцатого года. Расстреляли старшего брата Емельяна, который, как инвалид мировой войны, к бунту не был причастен. Вроде бы даже жена Емельяна, Варвара Петровна, умолила коменданта не убивать мужа – не тот это Махно, – но, когда подскочил всадник, чтоб отменить приказ, тот уже лежал, сраженный пулями, в яме, вырытой своими руками. Самого старшего брата, Карпа, тоже водили расстреливать, но по неизвестной причине, из издевательства, что ли, пальнули поверх головы и стали полосовать нагайками, спрашивая, где деньги. Карп Иванович человек был мирный, работал как вол, кормя одиннадцать детей, денег у него сроду не было. Залпа в лицо и плетей он не вынес и, едва дотянув до дому, простился со своими и умер.

Эти жертвы были невинными, они вызвали к отмщению, и сын Карпа, Миша, потом пошел в отряд к Махно мстить за отца. И если Нестор Махно лицом и фигурой был неказист, то племянник его был красавец – сохранилось фото. Он погиб в бою с белыми в 1919 году. И в этом своя была ужасающая логика, ибо, если узел ненависти развязан, платить по счетам ее приходится не только тем, кто развязывал, но и потомкам их – не до семи, но до семижды семидесяти раз. Мы до сих пор платим по этим счетам, хоть, может, и не осознаем этого. А уж в 1918 году можно себе представить, как было накалено народное настроение! В Терновке, например, где Махно поселился у своего дяди под видом учителя, его едва не прикончили местные хлопцы, заподозрив в нем провокатора. Он пишет, что на пирушке открылся им и организовал боевую группу. Так или иначе, к сентябрю вокруг Махно собралось человек восемь: Чубенко, Марченко, Каретников – все из старых буянов. Махно скороговоркой отмечает, что занимались они в основном нападениями на кулацкие хутора и помещичьи имения. По показаниям, которые дал ГПУ арестованный в 1920 году Алексей Чубенко, один из ближайших сподвижников Махно, первой акцией террористов был налет на экономию помещика Резникова, семью которого вырезали целиком – за то, что в ней было четыре брата-офицера, служивших в гетманской полиции. «Здесь же были добыты первые 7 винтовок, 1 револьвер, 7 лошадей и два седла» (40, 39).

22 сентября махновцы, одетые в мундиры державной варты⁹ (полиции), встретили на дороге конный разъезд поручика Мурковского. Махно, в форме капитана гетманской армии, представился начальником карательного отряда, присланного из Киева по распоряжению самого гетмана, и поинтересовался, куда держат путь офицеры. Мурковский, не подозревая подвоха, рассказал, что направляется в отцовское имение отдохнуть, денек-другой поохотиться за дичью и за крамольниками. Предложил составить компанию.

– Вы, господин поручик, меня не понимаете, – срывающимся от волнения голосом выговорил «капитан». – Я – революционер Махно. Фамилия вам, кажется, достаточно известная? (54, 51).

⁹ Державная варта (государственная охрана) – созданные режимом гетмана Скоропадского полицейские формирования. После прихода к власти петлюровской Директории заменены народной милицией.

Офицеры стали предлагать Махно деньги, но тот холодно отказался. Тогда, исполнившись страха гибели, «охотники» кинулись врассыпную. По ним ударили из пулемета...

О, Махно любил провокацию! Любил недоумение и страх, темнотой проступающий в глазах врагов, когда внезапно объявлял он им свое имя. Любил до того, что и в позднюю пору, будучи грозным командиром Повстанческой армии, он нет-нет да позволял себе тряхнуть стариной и покуражиться по-прежнему, по-робингудовски, с отчаянным враньем и маскарадом: лицедей был. Послушайте интонацию, с которой Махно повествует о случившемся в тот же день, 22 сентября, события – вы сразу поймете, как нравилось ему лицедейство, *каким* он себе нравился.

Когда, разделившись с Мурковским, отряд проезжал одну из барских усадеб, навстречу ему выскочил голова державной варты с вопросом, что за стрельба была.

«– А вы начальник варты и не знаете, что делается в вашем районе?»

Тот стал ругаться, но Махно грубо оборвал его:

«– А вы кому служите?

– Державі та її голові, вельможному панові гетьманові Павлові Скоропадському, – последовал ответ.

– Так вот, возиться нам с вами некогда, – сказал я ему и, обратясь к товарищам, добавил:

– Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище...» (54, 54).

Чувствуете, как ему нравится это: «как собаку, на кресте»?

Так ведь у него двух невинных братьев такие же вартовые замучили! Это можно простить? А если не простить, то скольким же братьям придется мстить за братьев?

Тогда не думали об этом. Тогда каждый, у кого было оружие, чувствовал себя в силе, и в праве, и в правде.

23 сентября отряд налетел на Гуляй-Поле, но там оказалось полно войск – ушли боковой улицей, схоронились в балке, где под открытым небом и заночевали. Через двое суток, в Марфополе, махновцев накрыл настоящий карательный отряд, небольшой, правда, человек 25. Махно подпустил врагов поближе, опять назвался вартовым и, чуть-чуть этим заявлением расслабив наступавших, в упор расстрелял из стоящего на тачанке пулемета. Так как за каждого убитого на территории деревни оккупационные власти накладывали на население контрибуцию, трупы свезли в ближайший помещичий лесок.

То, что контрибуцию на Марфополь все-таки наложили – внести 60 тысяч рублей в течение суток, – Махно, по-видимому, не слишком тревожило: непосильные налоги, порки, шомпола – это ж было именно то, что высекало искру на трут, то, от чего должно было вскипеть сдерживаемое недовольство и полыхнуть восстание масс. Конечно, для восстания одних налетов на имения было недостаточно: здесь необходимо, чтобы большие, очень большие группы людей стали ненавидеть и уничтожать друг друга. А для того, чтобы воспламенить массы, потребна была другая масса, критическая масса насилий и смертей и вызванных ими отчаяния и злобы. Как частицы огненного флогистона, небольшие группы боевиков кружились по Украине, сея огонь и смерть: и лишь когда озверевшие от партизанских налетов каратели стали жечь деревни, убивать и мучить крестьян за одно лишь «сочувствие» – пламя народного гнева ударило вширь...

По порядку, однако. В конце сентября махновцам удалось на короткое время захватить Гуляй-Поле – австрийцы ушли оттуда ловить партизан, в селе оставалась одна рота и человек восемь—десять варты. У Махно было семь человек, но за сутки по старым связям удалось сагитировать на выступление еще четвереста. Ночью село было захвачено: и варта, и австрийцы сдались, штабные бежали. Махно спешил, зная, что боя не выдержит. В Александровск ушла телеграмма: «Всем, всем, всем! Районный гуляй-польский Ревком извещает о занятии повстанцами Гуляй-Поля, где восстановлена советская власть. Объявляем повсе-

местное восстание рабочих и крестьян против душителей и палачей украинской революции...» (6, 204). Махно пишет, что были отпечатаны листовки с призывом поддерживать революционно-повстанческий штаб (которого на самом деле еще не было) и организовывать боевые отряды. Был устроен грандиозный митинг: австрийские солдаты, которым раздали деньги из взятой бригадной кассы, воодушевились до того, что просили взять их с собой. Их, естественно, не взяли. Махно отдавал себе отчет в том, что эйфория будет короткой и за ней последует расплата. Он, по существу, блефовал, рассылая телеграммы и печатая воззвания от имени несуществующего штаба, но делал это сознательно, понимая, что по-настоящему почва для восстания будет подготовлена лишь ФУТОВ того, как по его следам в село придут каратели...

Действительно, вскоре на станцию Гуляй-Поле – километрах в семи от села – прибыло два эшелона карательных войск. Махновцы подстерегли карателей на марше и с двух тачанок резанули из пулеметов по не успевшим развернуться походным колоннам. Когда враги залегли, партизаны сорвались прочь, проскочили Гуляй-Поле «напоперек» и в количестве двадцати примерно человек были таковы, оставив остальных участников восстания на милость победителей...

Отрядов, подобных махновскому, было тогда на Украине множество: все они были невелики, дерзки и абсолютно безответственны. Иначе они и не могли бы, пожалуй, выжить: увеличение численности могло роковым образом обернуться неповоротливостью или, чего доброго, искушением принять открытый бой, выиграть который партизаны вряд ли могли бы. И не только потому, что оккупанты были в сто раз лучше вооружены, но и потому еще, что в это время заодно с ними действовали и добровольцы – кулаки и помещики, местные уроженцы, великолепно знающие каждую пядь земли, каждый партизанский угол. Зажиточные хуторяне и немцы-колонисты с нутряной тоской чувствовали, что уж на этот-то раз священное их право собственности на землю обрушится навсегда, отберут у них, перекроют и переделают все нажитое – свои же ближние отберут из чистой зависти, как уже отбирали в семнадцатом году, но только с большей злостью, с большим остервенением. Хуторяне и колонисты припрятавали оружие, организовывали «самооборону», а то и включались – всем своим хозяйским сердцем ненавидя партизанскую сволочь, голытьбу, огнепускателей – в карательные операции.

В конце сентября Махно двинулся на соединение с отрядом анархиста Ермократьева, который, по слухам, насчитывал до 300 человек. Но оказалось, что отряд разгромлен, и только сам Ермократьев с семьей сподвижниками прятался где-то на хуторе. Его взяли с собой и тронулись в сторону Гуляй-Поля.

Вечером, с перепугу, должно быть, махновцев обстреляли немецкие колонисты, оберегающие от налетов свою маленькую *Heimat* – колонию № 2. Вот как описывал дальнейшее Алексей Чубенко, бывший не только свидетелем, но и участником событий: «Выбили их из огорода, а они засели во дворах; выбили оттуда, прогнали улицей, а они засели в домах и ну палить по нас. Судили-рядили, а потом решили выкурить. Мигом поднесли огня и пустили красного петушка. Скирды сена, соломы, дома горели так ярко, что на улицах было светло, как днем. Немцы, прекратив стрельбу, выбегали из домов, но наши всех мужиков стреляли тут же. Женщин и детей брали в плен. Под утро, когда выхватили из огня кое-что из одежды, лошадей и тачанки, мы двинулись вперед...» (6, 205).

В тот же день к вечеру случилось еще одно событие, которое стыдливо замалчивается и Махно, и Аршиновым, и в перевернутом виде кочует из книжки в книжку у советских историков, когда они, как о достоверном факте, пишут о том, как Махно, одевшись в подвенечное платье, прибыл на бал к помещику Миргородскому и учинил там кровавую резню. Версия эта по-своему поэтична, но, по-видимому, лжива. Во всяком случае, в воспоминаниях о

махновщине Виктора Белаша, который пишет со слов все того же Чубенко, изложена куда более убедительная, хотя и не менее кровавая история.

Итак, в тот же день партизаны захватили на дороге разъезд штабс-капитана Мазухина, начальника александровской уездной варты, который незадолго перед тем руководил разгромом отряда Ермократьева, а теперь ехал на именины к помещику Миргородскому.

Несчастный штабс-капитан! «Его раздели догола, а за компанию и его секретаря, ехавшего с ним в экипаже. Кучера, вартового и четырех конных, сопровождавших его, только обезоружили» (6, 206). Штабс-капитан заплакал, «упрашивая даровать ему жизнь. Но куда там! Ермократьев сам его пытал за михайлово-лукашевскую расправу, а затем привязал к животу ручную гранату и взорвал, а секретаря расстрелял» (6, 206).

Нарядившись в мундиры варты, повстанцы прибыли на именины к Миргородскому. Подвыпившие гости радостно приветствовали их как русских офицеров.

«— За здоровье хозяина, офицеров, за возрождающуюся великую Россию и вас, господа помещики!... — начал тост отставной генерал. — Да поможет вам Бог освободить христианскую церковь от анархистов-большевиков!

— Да ниспошли вам, русские люди, успеха в поимке бандита Махно! — провозгласил один из гостей...

Махно полез в карман за бомбой.

— Покарай его святая...

Разъяренный Махно встал...

Генерал оторопел, гости от испуга выронили бокалы...

— Я сам Махно... буржуазные! — зычно крикнул Нестор и поднял бомбу. Шипя, она упала в хрустальную вазу... Наши бросились к дверям. Свет потух... Оглушительный взрыв, за ним другой, третий.

Мы стояли у окон и ждали, когда кто-нибудь из них будет бежать... Но никого не дождались. Когда осветили зал, глазам представилась такая картина: полковник, захлебываясь в крови, тяжело дышал, хозяин без руки корчился в судорогах, остальные или совсем не показывали признаков жизни, или звали на помощь. Наши хлопцы обыскали их, у женщин поснимали ценности, а потом штыками докололи оставшихся в живых.

Мигом ребята открыли погреб и разыскали выпивку и закуску.

Подкрепившись немного и захватив что поценнее, зажгли имение. Красиво оно горело» (6, 206–207).

К концу месяца в отряде было уже около 60 человек: кружась по селам, Махно убеждался, что может в любой момент «облипнуть» людьми. 30 сентября он пришел в село Дибривки, где к нему присоединился растрепанный карателями и с лета прятавшийся в лесу отрядик местного партизана Федора (настоящее имя Феодосии) Щуся, который позже станет одной из самых одиозных фигур махновщины. На совместном митинге им удалось так распалить крестьян, что вступить в отряд выразили готовность до полутора тысяч человек. Но не было оружия. Встреча, однако, была столь теплой, что уставшие от ярости партизанчества повстанцы легли спать, даже не выставив охранения. Ночью на село ударили австрийцы вместе с добровольцами из кулаков и немецких колонистов, и партизаны, побросав тачанки и оружие, вынуждены были бежать обратно в лес. Положение было критическое: в отряде после бегства насчитали всего тридцать два человека, силы врага были неизвестны, но намерения его ясны — окружить партизан и уничтожить. Махно один, пожалуй, не потерял голову, сходил в село на разведку и вернулся злой: батальон австрийцев занял Дибривки, с ними было две сотни добровольцев и варты. Числом карателей партизаны были удручены едва ли не больше, чем внезапностью их нападения. Щусь предложил схорониться поглубже — ему все еще казалось, что лес, столько времени укрывавший его, сбережет и на этот раз. Но Махно знал, что такое каратели. В голове его созрел безумный план: немедленно напасть на

врагов, рассеять их и, воспользовавшись паникой, скрыться. Бойцы отряда – и махновцы, и щусевцы, – прельщенные светом отчаянной надежды, с гибельным восторгом закричали:

«– Отныне будь нашим батьком, ве́ди, куда знаешь!» (6, 208).

Сцена наречения Махно «батькой» – несомненно, ключ ко всей махновской мифологии. В этом смысле показательно, что сам Махно ночной партизанский крик, исторгнутый из груди в минуту отчаяния, предлагает нам в следующей редакции:

«– Отныне ты наш украинский Батько, мы умрем вместе с тобою. Ве́ди нас в село против врага!» (52, 84).

Для Махно события этой ночи имеют поистине сакральный смысл – в них и повод для глубокомысленных философских рассуждений – «Честно ли допускать до того, чтобы меня так возвышали?» (54, 91), – и оправдание. Поэтому он не удерживается от того, чтобы страшный разгром, учиненный карателями в Дибривках, истолковать в победном для себя смысле. Хотя это была и не победа даже, а просто спасение от смерти – для тридцати партизан.

Но Махно действительно отличился. Он и еще несколько человек с двумя пулеметами «лююис» незамеченными прокрались через село до самой базарной площади, где расположились каратели, и, спрятавшись за базарными лавками, внезапно открыли смертоносный, в упор, огонь по отдыхавшим людям. С другой стороны на них ударили бойцы Щуся: среди австрийцев и добровольцев началась паника: крестьяне, выбегая из дворов с вилами и топорами, стали ловить и убивать в беспорядке отступающих. Блеснули первые языки огня... Вот оно, вот оно – восстание, бунт, «святой и правый» бой угнетенных против угнетателей! Дождался Нестор Иванович!

Австрийцы, однако, быстро опомнились. «Отступив на западную и северную окраины, – рассказывал Чубенко, – они подожгли строения. Расстреливая крестьян, бегущих из центра на пожар, они не миловали ни женщин, ни детей. Более сорока двух дворов сгорело, а сколько было расстрелянных – трудно сказать.

Махно на площади митинговал перед крестьянами, которые, как и повстанцы в лесу, кричали: будь нашим батьком, освободи от гнета австрийцев!..

Но скоро мы вновь были окружены.

С боем прорвались мы через мост на южной стороне села. Нас преследовали стоны дибривчан... шум падающих в огне строений... Но помочь горю мы были не в силах» (6, 208).

Махно пишет, что все село было сожжено и ограблено, бабы насильничаны, мужики избиты или убиты. Особенно зверствовали кулаки и колонисты, присоединившиеся к карателям. Уже на следующее утро махновцы отловили на дороге тачанку из немецкой колонии Красный Кут. В ней вместе с колонистами оказался плененный ими дибривский крестьянин. Когда Махно спросил его, какой кары он желает обидчикам своим, тот ответил: «Они дураки. Я им ничего худого не хочу сделать» (54, 106). Однако другие, ранее прибежавшие в отряд крестьяне из Дибривок воспротивились такому подходу. «Они взяли этих кулаков и тут же отрубили им всем головы» (54, 106).

Занялась, занялась уже ненавистью душа человеческая! На Украине начинались события, в терминах мирного времени неопишуемые, осененные средневековым образом «пляски Смерти» – аккомпанементом которой должны служить адский свист ее косы, вопли ужаса, стоны умирающих, треск свирепого огня и отчаянное хрипение всякой другой, прижившейся к человеку погибающей твари. Противники стояли друг друга. За Дибривки махновцы в один день сожгли Фесуковские хутора и колонию Красный Кут, откуда явились пособники карателей. Некоторые из них еще не вернулись домой и не знали, что сами едут на пепелище. «Легкий ветерок поспособствовал задаче. Колония быстро превратилась в сплошной костер» (54, 111). Нигде не задерживаясь, отряд стремительно двинулся на юг, в Бер-

дянский и Мариупольский уезды, налетая на хутора, налагая контрибуции, отбирая оружие, уничтожая сопротивлявшихся и безусловно обрекая на смерть офицеров и вартowych.

Под Старым Керменчиком махновцы впервые столкнулись с белыми: подробностей боя мы не знаем, но Махно записал за собой победу. Белые тогда еще были не в силе, сами действовали по-партизански, главными врагами махновцев оставались кулаки и карательные батальоны. Под Темировкой отряд, разросшийся до 350 человек, попал в западню: Чубенко свидетельствует, что накануне Махно и многие повстанцы были пьяны и не приняли достаточных мер предосторожности. Окруженные ночью австрийцами, повстанцы сражались отчаянно. Махно, раненный в руку, стрелял из «льюиса» с плеча верного телохранителя Пети Лютого. Но лишь половине бойцов, в том числе и Махно с новой «женой» – дибривской телефонисткой Тиной, удалось вырваться из окружения. Месть батьки была страшной. Хуторянам, поверившим слухам о том, что Махно убит, в качестве сюрприза преподнесена была «сверхмобильная авангардная боевая группа» под командой отчаянного головореза Алексея Марченко, которому предписывалось «огнем и мечом пронестись в один день через все кулацкие хутора и колонии маршем, который не должен знать никаких остановок перед силами врагов» (54, 159). Рейд произвел на кулаков шоковое впечатление, хотя хутора на этот раз не сжигались и расстреливали только организаторов сопротивления. С оккупантами Махно тоже посчитался: на линии Александрове к– Синельниково махновцы разбили немецкий эшелон пущенным со станции паровозом и, перебив охрану, захватили много оружия и огромное количество варенья, которым, как пишет Махно, русская буржуазия одаривала своих защитников. Все добро, включая варенье, было роздано окрестным крестьянам...

Вероятно, операции такого рода продолжались бы еще долго, если бы вдруг – а эта весть для всех была неожиданностью, только для одних приятной, а для других ужасающей, – не выяснилось одно обстоятельство: немцы уходят! О ноябрьской революции в Германии, отречении кайзера от престола и крахе всех германских замыслов на Западе и на Востоке здесь, в партизанской глуши, никто не знал. Очевидно было одно: уходят! «Гуляй-Польский район, до того насыщенный войсками, в начале декабря был почти пуст. Гуляй-Поле, Дибривки и Рождественка были оставлены оккупантами на произвол судьбы. Они группировались, главным образом, на ж.-д. узлах: Пологи, Чаплино, Волноваха и, если на них не нападали, не проявляли себя наступательными действиями, – свидетельствует Чубенко. – Эти села были нами заняты без боя. Отсюда мы начали отрядами распространяться во все стороны...» (6, 210). На узловых станциях под прикрытием оккупантов скопились толпы беженцев – все, кто каким-то образом был связан с властями, хотя бы только деловыми отношениями, спешили скрыться. Наталья Сухогорская, приехавшая на «умиротворенную» Украину весной голодного 1918 года, чтобы отъесться и отдохнуть, и в результате вместе с ребенком попавшая в самый эпицентр махновщины, вспоминает: «На железнодорожной узловой станции Пологи, в 19 верстах от Гуляй-Поля, скопилась масса народа... убегавшего от Махно... Австрийцы еще оставались в Пологах... солдаты ходили взад и вперед, так как временно здесь был помещен австрийский штаб. Между тем среди беженцев совершенно спокойно разгуливал сам батько Махно. Переодетый рабочим, в темных очках, он похаживал и посматривал на публику... Никому и в голову не пришло выдать его австрийцам... Австрийцы уходили, им было не до нас...» (74, 41). Мы не знаем, в самом ли деле Махно прогуливался среди беженцев в Пологах – Сухогорская знала его в лицо, но могла все же и ошибаться, – но для нас важно зафиксированное ею состояние ужаса перед ним, парализующего страха, который внушало его имя. Махно входил в силу. Теперь он был хозяином района.

В Гуляй-Поле, «основательно» занятом 27 ноября, был организован Революционно-Повстанческий штаб. Наметились «фронты», то есть выставлены были отряды: на

западе, в районе Чаплино, против отступающих немцев; на востоке – против «казачьих отрядов белого Дона»; на юге – против Дроздовского отряда, рейдирующего в районе Бердянска; на юго-западе – против помещичье-кулацких формирований генерала Тилло, действовавших в Таврической губернии. Под контролем Махно оказалась территория радиусом примерно 40–45 километров со «столицей» в Гуляй-Поле. Что конкретно происходило на этом пространстве в те смутные дни, мы знать не можем. Н. Сухогорская вспоминает черное ночное небо и опоясывающую горизонт розовую ленту пожарищ: «Это горели хутора немцев и личных врагов Махно» (74, 41). Махно, напротив, утверждает, что всячески противился сведению счетов. Действительно, нелепо полагать, что пострадали только его личные неприятели. После бурной весны и не менее бурной осени 1918 года в каждой деревне, похоже, было кому с кем посчитаться. В сведении счетов, в конце концов, и заключен главный ужас Гражданской войны. Махновцы, надо полагать, своих противников-кулаков не пощадили, выжгли со всем тщанием крестьян, привыкших к разного рода нечистой работе. Но к уцелевшим, побежденным, не было того рода отчужденной, холодной жестокости, похожей на издевательство, которую потом, в лице присылаемых из города продагентов, чекистов и прочих, продемонстрировали большевики...

В отношении кулаков все же проведен был ряд диктаторских мер, а именно – разоружение и экспроприация. Махно цитирует резолюцию, принятую на сходе дибривских крестьян: «За каждую сданную собственниками-богатеями винтовку с пятьюдесятью патронами к ней отряды должны возвращать три тысячи рублей из общей контрибуционной суммы» (54, 124). Эх, придет двадцатый год, и такое диктаторство просто ухаживанием покажется... Правда, для нужд партизанской войны безвозмездно отбирались тачанки и часть содержащихся в хозяйстве лошадей: нужно было не зевать и оградить район от чужеродного вторжения в условиях калейдоскопически меняющейся боевой обстановки.

Махно становился крут, решителен, постепенно привыкал к командному своему статусу. Но чтобы быть вождем полноценным, чтобы его образ был наполнен в должной мере силой обаяния, чтобы никто не смел упрекнуть его в мужской холодности – что может быть хуже на Украине? – ему нужна была женщина. Такая женщина, которая не посрамила бы его титул батьки. Он давно приглядывался к двадцатичетырехлетней учительке из Добровеличковки Галине Кузьменко. Он пошел за нею, когда ощутил себя в силе, когда почувствовал наверняка, что она не устоит перед обаянием его геройства.

Сцена «сватовства», рассказанная мне внучатым племянником Махно Виктором Яланским (сам он ее услышал от Варвары Петровны, своей бабки, которая, после того как австрийцы расстреляли ее мужа Емельяна, стала твердокаменной партизанкой и даже при советской власти вспоминала Махно исключительно как героя), настолько многозначительна и вместе с тем трогательна, что, несмотря на кажущуюся грубость, вызывает искреннее восхищение:

«Она преподавала урок, и вдруг, говорит, заходит в военной форме мужчина, небольшого роста, садится за парту – и смотрит на нее...

...Потом встал – а ученики все смотрят – «Пойдемте, говорит, выйдемте из класса». Ну, она сказала ребятам, что скоро вернется, и вышла с ним в коридор.

У него пистолет был, он его уронил на пол:

– Подбери.

Она стоит, смотрит:

– Твой – ты и бери».

Прекрасная, краткая, простодушная дуэль! Он нагнулся, подобрал. Из рассказа Виктора Ивановича получается, что вернуться в класс Галине Андреевне так и не пришлось: Махно повел ее к директору школы, Алексею Корпусенко, и объявил: «Вот, это будет моя жена». А тот хоть и робел перед атаманом, но все же, храня в груди старорежимную педан-

тичность и ответственность, возразил: «Как же ж? Она же уроки преподает... Вот кончатся экзамены...»

– Ну, – вздыхал в этой части рассказа Виктор Иванович, – Нестор побеседовал с ним, и она стала его женой и сподвижницей на всю жизнь, от Гуляй-Поля до Парижа... (92).

Быть может, Агафья-Галина и не любила Махно, но ей была по нраву жизнь, которую он вел, – с погонями, битвами, сумасшедшими страстями. С полным правом народные песни и боязливо-восторженные крестьянские рассказы ставили рядом «бабку Махно» и «матушку Галину». Н. Сухогорская так описывала ее в воспоминаниях: «Очень красивая брюнетка, высокая, стройная, с прекрасными темными глазами и свежим, хотя и смуглым цветом лица, подруга Махно внешне не походила на разбойницу. По близорукости она носила пенсне, которое ей даже шло... Жена Махно производила впечатление не злой женщины. Как-то она зашла в тот дом, где я снимала комнату, в гости. В котиковом пальто, в светлых ботах, красивая, улыбающаяся, она казалась элегантной дамой, а не женой разбойника, которая сама ходила в атаку, стреляла из пулемета и сражалась. Рассказывали про нее, что несколько махновцев она сама убила, поймав их во время грабежа и насилия над женщинами. Ее махновцы тоже побаивались...»

* * *

Итак, личную жизнь Махно устроил. Но для дела ему катастрофически не хватало людей. Если уж белые и большевики испытывали постоянную нехватку в компетентных, толковых работниках, то махновцы и подавно: у них были только те таланты, которые могли дать деревня и городские низы. Этим обстоятельством задавался и уровень образованности, и масштаб дарований. И хотя среди махновских командиров были настоящие самородки, люди исключительно одаренные в военном отношении (В. Куриленко, С. Каретников, П. Петренко), эта бедность в людях всегда была ощутима. Первоначально в штабе повстанчества оказались только Махно, Алексей Марченко и Семен Каретников. Марченко был человек отчаянной смелости, но стратегически мыслить, по-видимому, не умел и по убеждениям был закоренелый партизан и налетчик. Каретников (часто называемый Каретником) на мировой войне дослужился до унтера, имел боевой опыт. Правда, вскоре после бегства из Киева гетмана Скоропадского в Гуляй-Поле вернулись Александр Калашников и Савва (он же Савелий) Махно, освобожденные из тюрьмы по объявленной новым украинским правительством политической амнистии. В декабре 1918 года начальником штаба стал Алексей Чубенко, вместе с которым работали левый коммунист Херсонский (екатеринославский рабочий, считавший себя несогласным с линией партии), левый эсер Миргородский (когда-то работавший вместе с Махно в александровском ревкоме) и анархист Горев.

Как раз в это время в Гуляй-Поле прибыл Виктор Белаш, 26-летний паровозный машинист, которому суждено было стать бессменным начальником штаба и первым стратегом махновщины и который, словно бы в пику тяжеловесной науке фон Клаузевица, начал даже писать целиком построенную на парадоксах «Тактику партизанской войны». Белаш не знал Махно и слышал о нем только в Мариуполе, куда добрался вместе с рыбаками, чтобы ввязаться во всеукраинскую драку. Услышав же, почуял родное и стал пробираться в Гуляй-Поле: через фронт, уже установившийся между махновцами и белыми, через родную Новоспасовку. Махновская столица предстала его глазам во всей красе: «У штаба висели тяжелые черные знамена с лозунгами: „Мир хижинам, война дворцам“, „С угнетенными против угнетателей всегда“, „Освобождение рабочих – дело рук самих рабочих“. Дальше виднелись красные флаги вперемешку с черными, развешанные, видимо, у зданий гражданских организаций. Рядом со штабом, у входа в „Волостной Совет рабочих, крестьянских и повстанческих депутатов“ висели два флага – один черный с надписью: „Власть рождает

паразитов, да здравствует анархия!“, другой – красный с лозунгом „Вся власть советам на местах!“.

Мимо нас проехала тачанка с пулеметом. Пьяные молодые пулеметчики с длинными волосами под гармошку пели какую-то песню, а столпившиеся возле штаба девушки махали им вдогонку платочками...

...Громадный штабной зал был переполнен народом. Здесь была и караульная команда штаба, и местные посетители, главным образом – женщины, просящие вернуть с позиции их сыновей, и делегаты, приехавшие из окрестных сел. В отдалении в углу на столике стоял телефон, и телефонист кричал в трубку изо всех сил... Направо были двери с надписями мелом. На первой из них было написано – «начальник снабжения», на второй – «члены штаба» и на третьей – «начальник штаба»» (6, 202).

Белаш не застал Махно – тот уехал брать Екатеринослав. Встреча произошла лишь через несколько дней. Белаш не без удивления увидел маленького человека, одетого в диагональные галифе, драгунскую с петлицами куртку и студенческую фуражку, который устало соскочил с лошади и, пропустив проходящие по улице подводы, вошел в штаб.

– Что же вы тут сидите, подлецы? Пьете, наверное, а нас там бьют! – долетел до него высокий полуженский голос (6, 211).

Щусь, знавший Белаша, представил его батьке:

– Батько, а вот тот, который обещал высадить десант на Кубани.

Махно взглянул на прибывшего:

– А, сволочь, обманул! – и пожал ему руку.

Махно опять лицедействовал: он обломал зубы об Екатеринослав и чувствовал себя неуютно. Такого разгрома партизаны прежде не знали.

Проклятый город

Первое взятие Екатеринослава в декабре 1918 года – событие самое значительное в истории раннего повстанчества. Одновременно это повод для политических спекуляций наших историков, стремящихся доказать, что изначально махновцы были по отношению к большевикам одержимы каким-то патологическим вероломством. Сюда же приплюсовываются картины разграбления города и повального пьянства – которые станут главными внеполитическими характеристиками махновщины вплоть до 1920–1921 годов, когда махновцы представляли собой исключительный по своим боевым качествам и мобильности партизанский отряд, успешно сражавшийся против противника, численно превосходящего их раз в десять. Но и по сей день вряд ли кто сомневается в том, что махновцы беспрерывно пили и грабили, хотя достаточно себе представить нечеловеческие условия партизанской войны, требующей бешеных скоростей и постоянной собранности, чтобы понять, что пьяные бандиты в таких условиях не просуществовали бы и недели – их просто стерли бы в порошок.

М. Кубанин признает, что грабежи махновцев не превосходили по масштабам грабежи белых и петлюровцев (про Красную армию историк того времени, естественно, не мог сказать ни слова). М. Гутман, вспоминая второе взятие Екатеринослава в 1919 году, уверенно констатирует: «Такого повального грабежа, как при добровольцах, при Махно не было» (40, 186). Махно, как и красные, принципиально запрещал грабить, тогда как в отрядах петлюровских атаманов грабежи были узаконены. Другое дело, что приказы выполнялись плохо: армии всех воюющих сторон в разваливающейся, агонизирующей стране жили почти исключительно за счет «самозаготовок», которые были не чем иным, как более или менее организованной формой грабежа. Грабить вынуждены были все: здесь белые мало чем отличались от красных и от махновцев, особенно в 1918 году, когда в армиях еще не сложились аппараты снабжения и передовые отряды, действующие в отрыве от главных сил, могли рассчитывать только на собственную добычливость.

И хотя в декабре 1918 года разграбление Екатеринослава – вернее, Озерного базара, который Махно объявил своей продовольственной базой, – действительно имело место, сокровенная суть екатеринославского дела заключается совсем не в этом.

Согласно наиболее распространенной версии, повторяемой большинством историков вслед за Д. Лебедем – слова которого звучат особенно убедительно в силу того, что он сам был участником событий конца 1918 года, – Махно был *приглашен* большевиками для взятия Екатеринослава по решению областкома КП(б)У, который получил от ЦК «общую директиву» на предмет взятия города и привлечения Махно для этой цели (не зря ездил батька в Москву: запомнился!). Махно якобы долго колебался, боясь сильного петлюровского гарнизона, стоящего в городе, но, получив сведения, что часть петлюровцев готова переметнуться на его сторону, решил поучаствовать в предприятии большевиков. Подпольщикам и махновцам удалось захватить город, но из-за пьянства и грабежей батькин отряд быстро потерял боеспособность и, когда к петлюровцам подошли подкрепления, панически, позорно бежал, бросив большевиков и их дружины на произвол судьбы.

Все это выглядит правдоподобно, но правдой не является. Во-первых, «приглашение» Махно поучаствовать во взятии города вовсе не было, так сказать, актом доброй воли и проявлением товарищеского доверия со стороны большевиков: собственно говоря, не было никакого приглашения, а был обыкновенный сговор, в котором каждая из сторон преследовала свои цели и относилась к интересам партнера с достаточным наплевательством, чтобы все предприятие, в конце концов, провалилось. Второе обстоятельство еще ужаснее для партийной истории: в момент подхода к городу свежего корпуса петлюровских стрелков, перед которыми дрогнули большевики и махновцы, в тыл последним ударили вооруженные боль-

шевиками же рабочие дружины, уставшие от пятидневного путча. То, что рабочие с оружием в руках бросились избивать большевиков, для партийного разума вещь более ужасающая, чем отцеубийство, поэтому буквально всеми советскими историками это обстоятельство невротически замалчивается и затушевывается с помощью преувеличенных обвинений махновцев в разгильдяйстве и предательстве. Ну конечно, это они, махновцы, виноваты! Только из сносок, из примечаний к рассказу Махно о екатеринославских событиях, воспроизведенному в воспоминаниях Белаша (6, 214), мы можем заключить, что истинное положение вещей официальным историкам все-таки известно...

Боюсь, однако, что эти замечания для читателя ничего пока не проясняют, а наоборот, только все запутывают: кто с кем бился, в конце концов, и почему?

Итак, Украина, гетманщина. Губернский город Екатеринослав. Основанный в 1778 году Потемкиным и задуманный как великолепный памятник Екатерине II – столицей Новороссии с улицами шириною в 30 сажень, дворцами и университетом, – город, однако, не стал развиваться по плану. Уже через пять лет пришлось его переносить на место старых казацких зимовищ, ибо первоначальное его местоположение было болотистым, нездоровым. Павел I проклял город, лишив его имени, – нарек Новороссийском. Александр I имя вернул. Но по-настоящему город жить начал с конца XIX века, оказавшись центром огромной, богатейшей губернии. Как грибы росли ярмарки, магазины, банки, заводы. Два завода были крупнейшие: Александровский-Южнороссийский рельсопрокатный и Брянский, правильнее сказать – механический завод акционерного общества Брянских заводов. Еще, к сведению, в городе имелись: больница на 200 мест, дом для умалишенных на 550 человек, богадельня, собор, множество церквей, 12 синагог, реальное училище «с метеорологической при нем станцией», две табачные фабрики, четыре пивоваренных завода, общественный сад на берегу Днепра, памятник Екатерине II, общество попечительства о женском образовании, общество взаимного вспомоществования приказчиков и «замечательный железнодорожный мост через р. Днепр». Населения было больше ста тысяч.

До поздней осени 1918 года город Екатеринослав, занятый еще весною австрийцами, не знал никаких потрясений. Жизнь текла размеренно. Иноземная оккупация, столь тягостная в деревнях, в городе почти не ощущалась. «После советской голодовки поражала баснословная дешевизна цен на съестные припасы и громадное изобилие их на рынках. Екатеринослав был завален белыми булками, молочными продуктами, колбасами, фруктами, – свидетельствует бежавший из России на Украину профессор Г. Игренов. – ...Моего преподавательского оклада в университете, 450 рублей в месяц, с избытком хватало на жизнь... Спокойствие в городе нарушалось только слухами о происходящих в деревнях крестьянских восстаниях и о необычайной жестокости, с которой австрийские оккупационные войска их подавляли» (26, 186). Немецкие газеты до Екатеринослава не доходили, поэтому весть о революции в Германии и предстоящей эвакуации немцев и австрийцев пала как снег на голову. В конце ноября пришли первые известия о восстании против гетмана Скоропадского галицийских стрелков во главе с бывшим военным министром Центральной рады Симоном Петлюрой: восстание было поддержано крестьянством и вскоре охватило всю Правобережную Украину. Петлюровцы обложили Киев. Гетман бежал. Немцы заявили о своем нейтралитете.

Население города вряд ли осознало смену режимов раньше, чем в город вошли без единого, на этот раз, выстрела первые петлюровские солдаты. «Разодетые в опереточные зипуны, они распевали национальные песни, красиво гарцевали на своих лошадях, стреляли в воздух, проявляли большую склонность к спиртным напиткам, однако никого не трогали, – с холодной интеллигентской иронией пишет Г. Игренов. – ...В учреждениях, управляемых петлюровцами, господствовала полная бестолковщина. Одно учреждение не подозревало о существовании другого; каждое ведомство в отдельности непосредственно сносилось с Кие-

вом. Ежедневно публиковались приказы о мобилизации, которые в тот же вечер отменялись. Так, по крайней мере, раз пять объявлялась мобилизация студенчества и ни разу не приводилась в исполнение. Из учреждений были изгнаны все служащие, не владевшие „украинской мовой“» (26, 188–189). Петлюровцы, собственно говоря, поначалу заняли только нижнюю часть города, расположенного на склоне высокого холма, в верхней же сохранялось подобие старого порядка, так как здесь расположились части 8-го офицерского корпуса Добровольческой армии, которые деникинцы начали формировать при гетмане. Примерно неделю обе власти мирно сосуществовали, несмотря на различие политических устремлений: белые готовились к борьбе за единую-неделимую Россию, петлюровцы же – за самостийную украинскую республику, правительство которой, к тому же, тогда еще вдохновлялось довольно-таки радикальными лозунгами. Председателем этого нового правительства – Директории – был тогда крупнейший украинский социал-демократ В. Винниченко, достаточно левый для того, чтобы проповедовать мир и сотрудничество с большевистской Россией. Однако большевики, легализовавшись, проявили мало склонности к сотрудничеству и начали готовиться к захвату власти. Махно тоже скептически отнесся к провозглашению Украинской народной республики: меньшевиков и эсеров он не любил, совершенно по-большевистски называя их агентами буржуазии, и правительство Директории мгновенно оценил как «буржуазное». На митингах высказывался однозначно: «Украинской директории мы признавать не будем» (54, 155).

Петлюровцы же, о Махно, да и вообще о повстанческом движении на Левобережье зная мало, полагали, что он, подобно другим крестьянским «батькам», рано или поздно присоединится к их войску. Тем не менее они действовали дипломатично: атаман Екатеринославского коша войск Директории Горобец дважды телеграфировал в Гуляй-Поле предложения о совместной борьбе за Украинскую республику и, очевидно, звонил туда лично с целью добиться от повстанцев разрешения проводить мобилизацию в подконтрольных им районах, предлагая взамен оружие.

Оружие махновцев очень интересовало: в Екатеринослав немедленно выехала делегация в составе Чубенко и Миргородского. Петлюровцы обещали провиант и обмундирование, дали вагон патронов и полвагона винтовок. «Кроме того, – вспоминал Чубенко, – нам удалось за хорошую взятку... получить из артсклада бомбы и взрывчатое» (6, 211). Однако этим дело не ограничилось: посланцы очень быстро поняли, что в рядах новых хозяев города нету строю, часть офицеров во главе с атаманом Руденко не согласна с действиями кошевого, нервничает из-за присутствия немцев и формирующихся белогвардейских частей, да и вообще готова, в случае чего, проявить себя на попрание более радикальных преобразований. «Демократическое офицерство» устроило в честь Миргородского и Чубенко банкет: те разразились речами, выслушав которые, часть присутствовавших офицеров вынуждена была уйти, а оставшиеся грянули славу батьке Махно и восставшим трудовым массам. Все это, без сомнения, вселило в сердца делегатов самые смелые надежды.

На обратном пути, когда поезд остановился в Нижнеднепровске, к махновцам в вагон явились большевики из Губревкома и стали их расспрашивать о цели их визита к петлюровцам. «Мы объяснили им наши искренние намерения, но отнеслись недоверчиво», – замечает Чубенко (6, 211). Большевики предложили совместными усилиями захватить город. Махновцы, по-видимому, недолго колебались. Для координации действий решено было пригласить в ревком одного представителя от штаба повстанчества. С такими вестями вернулись Чубенко и Миргородский в Гуляй-Поле. Выслушав их, Махно решительно высказался за взятие города. Его, как мираж, манили арсенал и орудия.

Я нарочно фиксирую на этом внимание, потому что нашими историками в этот момент обычно производится подмена: начинают утверждать, что у большевиков и у махновцев цель была общая – Екатеринослав, – и потому выходит, что махновцы, бросив город, изменили

общему делу. Но махновцам в то время Екатеринослав был совсем не нужен. Махно, собственно говоря, и не скрывал, что вся эта затея ему представлялась только набегом, чисто военной, тактической операцией по раздобыванию оружия. Удерживать город он не собирався. И я более чем уверен, что большевики об этом прекрасно знали и что это их вполне устраивало: где еще отыщешь союзника, который не претендует на власть? Большевикам же именно власть была нужна: они рассчитывали с помощью политически недалеких партизан захватить город и продержаться до прихода подкреплений из красной России. О том, что это явная авантюра, они, по-видимому, не думали. Осторожничанье и «колебания» Махно казались им слюнтяйством и трусостью. Махно же, понюхавший живого порохового огня и уже к тому времени раз или два раненный, хладнокровно выжидал. Посланный в Екатеринославский губревком Марченко обо всем его информировал.

Петлюровцы тем временем усердно рыли себе могилу. Сначала они сразились с частями формирующегося белогвардейского корпуса, пытаясь заставить их убраться из города. Бой шел целый день, перекатываясь по городу дождем пуль, и был остановлен только вмешательством австрийского командования, которое пригрозило, в случае прекращения безобразий, обстрелять город из тяжелых орудий. «Дерущиеся вняли этому аргументу, — пишет профессор Г. Игренов, — и 8-й корпус на следующий день мирно ушел. Впрочем, часть его солдат осталась и перешла к петлюровцам... Стало весело, шумно и пьяно. Гайдамаки пели, плясали, но главным образом стреляли не в людей, а просто так себе, в воздух. Днем еще было сносно, но ночью становилось жутко. Нельзя было пройти несколько шагов по улице, чтобы перед ухом не просвистела пуля. Бывали и жертвы, особенно дети» (26, 188).

Вскоре, осмелев, петлюровцы предъявили ультиматум австрийским частям, собиравшимся оставить город: сдать оружие. Австрийцы, недавно еще внушавшие страх и безусловное почтение, подчиняться гайдамашне, ряженной под запорожских казаков, не захотели. Опять вспыхнул бой, который также продолжался весь день и закончился все же разоружением австрийцев: они устали и не видели более смысла воевать, а тем более гибнуть на чужой земле. «Сильное впечатление производило зрелище, как гайдамаки срывали погоны у австрийских офицеров. Гордые оккупаторы, союзники державы, едва не победившей всю Европу, склонялись перед толпой полупьяных украинских стрелков, представлявших совершенный ноль в военном отношении. Так повернулась к ним судьба... Тихо и незаметно вышли из города австрийские части, после своего позора не показывавшиеся больше на улицах» (26, 189).

22 декабря петлюровцы разогнали городской Совет рабочих депутатов, 26-го — разоружили кайдакский военно-революционный штаб, которым заправляли большевики, и оказались, таким образом, полновластными хозяевами положения. Однако после ухода австрийцев судьба города была предрешена — утром 27-го на Екатеринослав напал Махно.

Как пишет М. Кубанин, Екатеринославский губревком в своем распоряжении имел 1500 человек, но почти все они были выведены на линию Чаплино—Синельниково, где держали фронт против белых, которые стали просачиваться на Украину буквально по следам уходящих немцев. После разгона Совета и петлюровского налета на штаб у большевиков оставалось еще человек 500 боевиков. Махно тоже привел человек 500–600, из них сто конных, так что сила делилась прямо пополам; союзники были повязаны, ибо в одиночку никто из них не мог рассчитывать взять город. Позже, захватив Екатеринослав, каждая из сторон пыталась изменить соотношение сил в свою пользу — махновцы за счет левых эсеров, партийная дружина которых из 200 человек примкнула к ним в ночь на 28 декабря, а большевики — за счет вооружения рабочих на заводах. И хотя Махно, мгновенно вписанный в большевистскую иерархию и назначенный главнокомандующим всеми силами, наступавшими на Екатеринослав, как бы олицетворял собою примирение интересов и согласие сторон, взаимная подозрительность все же присутствовала, что не могло не сказаться на успехе всего дела.

В четыре часа утра 27 декабря махновцы и большевики, загрузившись в Нижнеднепровске в рабочий поезд, под видом деловитых пролетариев преодолели «замечательный железнодорожный мост» через Днепр, окруженный сонной охраной, и, высадившись на городском вокзале, захватили его, разметая себе дорогу бомбами и пулеметами. Вслед за рабочим поездом сразу прибыло еще несколько составов с большевистско-махновскими войсками, которые тут же начали растекаться по городу.

Профессор Игренов, до поры до времени воспринимавший события иронично и отстраненно, как русский интеллигент, ставший свидетелем краха державы и культуры, так описывает это утро: «Когда ранним утром следующего дня мы с женой отправились на ближайший рынок, чтобы запастись припасами... петлюровские солдаты настойчиво предлагали публике разойтись, предупреждая, что сейчас будет открыта пальба по железнодорожному мосту, уже занятому махновцами. Действительно, на рыночной площади были расставлены тяжелые орудия. Не успели мы несколько отойти от площади, как грянули первые оглушительные удары. Пятеро суток с этого момента, без передышки, шла ожесточенная артиллерийская пальба. Что пришлось пережить за эти безумные дни, не поддается описанию. Махновцы, заняв при первой же атаке вокзал, буквально засыпали город артиллерийскими снарядами. В первый же день здание духовной семинарии, в которой помещались гуманитарные факультеты университета, получило 18 пробоин, из них 8 навывлет... В воздухе стоял невыносимый гул от пальбы...» (26, 190).

Дело в том, что на вокзальной площади махновцы сразу захватили два орудия, командир которых не думал сопротивляться, а напротив, предложил свои услуги. Махно впервые получил вожаемые пушки и на радостях сам стрелял, изумляясь мощи огня и разрушений. Первые атаки махновцев и большевиков были отбиты, но с наступлением темноты они вновь пошли на приступ и стали занимать улицу за улицей. Настала ночь, ужасом наполнив души обывателей: город замер под властью разбойников...

Нам не избежать длинных цитирований. Чтобы не домисливать, что испытывали люди в эти часы, придется вновь обратиться к запискам Игренова, в которых так подкупает точность деталей и непосредственность суждений: «...Все жители дома собрались в казавшейся сравнительно более безопасной передней первого этажа. Думали о смерти и молчали. Стреляли так сильно, что уже нельзя было различить ударов. К 7 ч. вечера стрельба внезапно затихла. Соседи отправились наверх. Вдруг постучали в дверь. На мой вопрос кто там, раздался грубый голос: „А ну-ка, открой!“ Я открыл и невольно отшатнулся: на меня направлены были дула нескольких ружей. В квартиру ворвалось гурьбой человек 10 с ног до головы вооруженных молодцов, обвешанных со всех сторон ручными гранатами; одеты они были в самые разнообразные костюмы: одни – в обычные солдатские шинели, другие в роскошные енотовые шубы, очевидно, только что снятые с чужих плеч, третьи, наконец, в простые крестьянские зипуны. На испуганный вопрос подоспевших хозяев квартиры (я снимал у них только комнаты): кто вы? раздался ответ: „петлюровцы!“ и послышался дружный хохот: „Небось обрадовались, а мы ваших любимчиков в порошок истерли и в Днепр сбросили. Поиграли – и будет. Мы – махновцы и шуток не любим“. „Нам квартира эта нужна; выбирайся отсюда поскорей“, – прибавил предводитель отряда. Хозяйке квартиры удалось убедить незваных гостей, что передних двух комнат и прихожей будет вполне достаточно для их целей» (26, 191).

Усадив махновцев за стол, обитатели квартиры смогли немножко их разглядеть. Один, смуглый брюнет, хвастал произведенными кровопролитиями. «Другой, бледный и изможденный, в железной австрийской каске, сосредоточенно молчал, водя своими стеклянными глазами прирожденного убийцы. Внезапно он вытащил из-за голенища гамаши, очевидно, только что снятые с убитой, и, обращаясь к моей жене, сказал, ухмыляясь: „Возьми, барышня, на память, кажется, женские чулки“. Жена стала уверять, что ей не нужно этого

подарка, что, видимо, задело страшного кавалера. Положение спас наш хозяин, который взял гамаши для своей дочери. Совсем иного типа, чем остальные, был другой махновец: по виду мирный сельский пахарь, лет 45, одетый в обычное крестьянское платье, он поминутно крестил свой рот, приговаривая после каждого проглоченного куска: „Спасибо хозяину и хозяйке“. Невольно возникало недоумение, как затесался этот человек в буйную разбойничью ватагу; по-видимому, это была жертва насильственной махновской мобилизации.

В столовую вошел сам начальник отряда (как потом оказалось, пулеметной команды), солдат с совершенно неопределенным выражением лица; он пришел звать своих товарищей на смену и, отказавшись от угощения, стал нас просвещать: «Наш батька, – поведал нам он, – сам генерал: он царской армии подпоручик. Он коммунист настоящий, не то что петлюровцы, жидами купленные. Махно каждому позволяет взять по одной паре всего, сколько нужно, чтобы на себе носить. А кто больше возьмет, тех всех расстреливает...» (26, 191–192).

Махновцы, сидевшие в столовой, ушли на позицию. «...Их начальник позволил нам запереть на крючок дверь из столовой в половину квартиры, занятую отрядом. Всю ночь отдельные солдаты дергали за двери в надежде пограбить, но при окликах уходили, ничего не отвечая. Во двор к нам был поставлен пулемет, который стучал всю ночь; как оказалось, его чинили и пробовали. Мы все, конечно, не спали и прислушивались. У махновцев слышно было непрерывное движение и шепот: только впоследствии мы узнали, что в нашей квартире был избит прикладами и чуть не расстрелян врач-сосед, который, поверив, что пришедшие солдаты петлюровцы, стал поносить махновцев. Его целую ночь продержали под дулами ружей, ежеминутно угрожая убить, а он ползал на коленях и молил о пощаде; наконец его избили и под утро вытолкнули на улицу...

На рассвете приютившаяся у нас пулеметная команда выстроилась в боевой готовности перед домом; на другом конце площади стояли еще петлюровцы. После ухода махновцев мы нашли под кроватью целую кучу ручных гранат. Шкаф был взломан, и все платье и белье из него украдено. Мы поспешили позвать солдат, чтобы вернуть им оставленные на память бомбы.

Припасы все были съедены, и жена решилась, пользуясь затишьем, выйти на площадь поискать продовольствия. Махновцы, стоявшие там, узнали ее и пустили пройти: «А, ты из того дома будешь? Ну иди, иди; только скорей! А то стрелять надо. Мы подождем, но немного» (26, 192).

28 декабря бой продолжался: шрапнель рвалась над крышами, загоняя обывателей в нижние этажи. Нижний город был взят, петлюровцы отступили на холм, но ультиматум с требованием о сдаче, переданный через «нейтральную» городскую думу, категорически отвергли.

Махновцы тем временем сформировали состав и грузили в него оружие. Большевики же через профсоюзы открыли на заводах запись добровольцев, вооружили их, и уже к вечеру город патрулировали «солидные рабочие дружины». Распоряжался всем ревком. При этом Марченко, введенный в ревком как представитель махновцев, от дел был практически отстранен. Левых эсеров тоже «не принимали». Они кинулись за помощью к Махно, чтобы он повлиял на большевиков и заставил их сформировать новый ревком на паритетных началах. Ночью состоялось заседание ревкома, которое позднее и Махно, и большевики вспоминали, плюясь от отвращения. Махно предложил составить ревком из 15 человек: 5 большевиков, 5 махновцев и 5 левых эсеров. Большевики, конечно, не согласились. Д. Лебедь, бывший участником событий, презрительно комментирует: «Левые с.-р. заключают блок с Махно и каждое место в ревкоме отстаивают с бешенством... Эсеры величают Махно „батьком“, все время заискивая его расположения... Разговоры о конструировании власти

выливаются в острые и гаденькие формы торговли. Коммунисты готовы отказаться, взывая к революционной совести с.-р. и Махно» (44, 14).

Упрек левым эсерам в угодничестве мы должны принять с одной оговоркой: в ту же ночь Махно был поименован большевиками не то что «батком», но комиссаром по военным делам Екатеринославского района. Однако неудача с выборами ревкома охолодила проснувшийся было политический азарт Махно. Он не хотел служить партийной монополии. После заседания им овладевает какая-то унылая брезгливость: «...Для нас Ревком собственно не был нужен, мы бы ему *никогда не подчинились*, и поэтому я особенно не настаивал. Я спешил погрузить отбитое оружие и готовился оставить город, зная, что это неизбежно в силу нашей малочисленности и начавшейся партийной грызни за городскую власть» (6, 214). Большевики проиграли и Махно, и Екатеринослав.

Двадцать девятого опять шли бои, петлюровцы почти повсеместно были биты. Махновцы достигли Озерного базара и начали грабить лавки и магазины – в основном съестное и одежду. Думаю, что масштабы этого грабежа все-таки преувеличены: наверняка основная масса бойцов ничего существенного с этого разгрома не поимела или, как часто бывает в таких ситуациях, ухватила что-нибудь до нелепости ненужное, хотя, возможно, часть баткиных любимцев и загрузила кое-какое барахлишко в поезд. В тот же день большевики выпустили воззвание о низложении Директории и восстановлении советской власти. Махно по своему отметил это событие, с анархистской непосредственностью амнистировав – то есть попросту выпустив на волю – арестантов местной тюрьмы. «Мы выпустили арестованных, думая, что ребята наши, – пояснял он позднее, – но через день пришлось самому трех расстрелять за грабежи» (6, 213).

Тридцатого город был взят. Но торжество было явно преждевременным. Утром тридцать первого к Екатеринославу подступил семитысячный корпус «сичевых стрелков» петлюровского полковника Самокиша – и соединенные силы дрогнули. Махно кинулся на фронт, пытаясь собрать своих и оттянуть к мосту, через который пролегалла дорога к отступлению. И тут случилось самое неожиданное. «Все дружины, организованные Губревкомом, главным образом серпуховская, все время охранявшие город от бандитизма, повернулись против нас, – вспоминал Махно. – „Хотя бы состав с оружием захватить“, – подумал я и послал Лютого на станцию. Но везде была измена: ревкомовские дружины стреляли по нас из домов в затылок, а Самокиш напирал все сильнее. Я с частью своих отбросил серпуховцев от моста и перешел его, а остальные – кто куда... Я потерял шестьсот человек, спас четыреста. Наш состав, груженный оружием, железнодорожники умышленно загнали в тупик. Итак, я вернулся ни с чем» (6, 214).

В исторической литературе довольно обвинений в адрес Махно, бросившего большевиков в трудную минуту, но нигде не говорится, что «восстание» рабочих, которым якобы сопровождался штурм города, если и было, то было антибольшевистским. Мы можем только гадать, что так ожесточило трудящихся – пресловутая меньшевистско-эсеровская агитация или прелести революционной власти, – но должны констатировать факт: рабочие стреляли в своих «освободителей» и приветствовали петлюровцев.

После пережитых потрясений Махно отказался защищать позицию в пригороде Екатеринослава и с остатками людей напрямик двинулся в Гуляй-Поле. Вернулось с ним всего около 200 человек. Говорят, что на вопрос, где остальные, он отрубил: «в Днепре». Известно, так ли это. Екатеринославский разгром очень подорвал авторитет Махно. Гуляй-Поле переживало шок. «Сукин сын, погубил детей, потопил несчастных, а сам невредимый вернулся», – проклинали Махно женщины (6, 215). Нужны были новые неисчислимы бедствия, чтобы люди вновь увидели в нем защитника и полюбили его.

Комбриг Махно

Украинский фронт был образован решением Реввоенсовета республики 4 января 1919 года. Формально РСФСР и Украинская народная республика были самостоятельными государствами и, соответственно, создание одной державой фронта против другой должно было бы означать объявление войны. Но ничего подобного! Тихой сапой войска Советов просачивались из-за границы, 3 января Харьков был взят, но на запросы Директории, чем вызвано вторжение Красной армии на Украину, Чичерин отвечал, что наступают не советские регулярные войска, а украинские партизаны. Меж тем уже четвертого товарищ Затонский как представитель временного рабоче-крестьянского правительства Украины принял в столице – Харькове – военный парад, а вечером встретил там нового премьера Пятакова.

Украинцы послали в Москву делегацию для ведения переговоров о мире и совместной борьбе против интервентов и добровольцев. Но по величайшей иронии истории как раз во время этих переговоров случился переворот, председателем Директории стал Симон Петлюра, и Украина под давлением тех самых интервентов, против которых она собиралась воевать – а это были французы, высадившиеся в Одессе, – сама 16 января объявила войну советской России. Впрочем, переговоры вряд ли могли увенчаться успехом. В силу Директории большевики не верили, и тот же Затонский недвусмысленно сигнализировал в Кремль Сталину и Пятакову: «Мое мнение – никаких соглашений. Войска петлюровцев разбегаются, крестьяне бунтуют и самочинно строят советы. Надо бить Балбачанчиков (петлюровских атаманов. – В. Г.) по черепу, в Раду не итти, сельские и уездные собрания использовать для выступления и демонстрации, проводить резолюции о поддержке советской власти» (1, 105). В целом большевики просчитали все точно: уже в начале февраля в их руках оказались Киев, Черкассы, Кременчуг, Екатеринослав. Военные успехи сдерживала нехватка людей и оружия. Ведь если в России Красная армия уже была создана и худо-бедно и вооружена, то на Украине ничего похожего не было.

В свое время в приграничной зоне был собран из частей бывшей украинской советской армии довольно сильный кулак, но основная часть этих сил – «курская бригада» – была главнокомом Вацетисом предназначена для соседнего Южного фронта, который разворачивался на стратегически важный район Юзово, где были залежи угля. Так что поначалу советская украинская армия насчитывала всего три-четыре полка, и прилив в нее шел главным образом за счет партизан и обольшевичившихся петлюровских солдат. Позднее в своих «Записках о гражданской войне» командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко не без досады и не без обиды вспоминал, как в угоду Южному фронту, которому надлежало реализовать стратегический замысел главкома (отбить уголь!), Украинский фронт всегда урезывался и обделялся – что, безусловно, послужило одной из причин колоссального разгрома летом 1919 года, когда слабый фронт, изъеденный фурункулезом крестьянских восстаний против большевиков, не выдержал и провалился чуть ли не до самой Москвы.

В начале января в «освобожденный» Харьков прибыл отряд Павла Дыбенко – матросы, погруженные на бронепоезд с 8 пушками и 17 пулеметами. К тому времени Дыбенко (в 1917 году совместно с Антоновым-Овсеенко возглавлявший первый советский наркомат по военным и морским делам) уже вполне выявил свою стратегическую несостоятельность и использовался по назначению – там, где нужна была слепая сила. Антонов приказал ему «занять Лозовую, войти в связь с Махно, вести разведку к Славянску и Полтаве» (1, т. 3, 107).

Вообще, Антонов-Овсеенко прямо свидетельствует, что на Левобережье военные усилия большевиков ограничивались «прочищением дороги» (1, т. 3, 192) в партизанский район Махно. Силы его в этот момент исчислялись в пять тысяч человек. Правда, сама по себе эта цифра ничего не говорит: крестьянские отряды отпускали своих бойцов с позиции порабо-

тать домой – значит, шла ротация: одни уходили, другие занимали их место, следовательно... Да, конечно, вовлечено было более пяти тысяч...

Чем была эта война партизан против белых? Нам никогда бы не представить себе этого, если б не сохранившийся в воспоминаниях Виктора Белаша фрагмент о пересечении им линии фронта.

Белаш тогда поездом пробирался к Махно из Мариуполя – как странно, что поезда ходили! – и поглядывал в окошко. На станции Волноваха, занятой белыми, вдруг грянул залп: Белаш увидел, что у самого полотна дороги расстреляли пять человек. Поезд тронулся: «Отъезжая, я посмотрел в окно на дорогу, ведущую от станции в ближайшую немецкую колонию. На деревьях, насаженных вдоль дороги, болтались вытянутые человеческие фигуры, возле которых толпились солдаты. Это были повешенные пленные махновцы.

По обе стороны дороги виднелись окопы, в которых солдаты спали непробудным сном. За ними тянулась новая линия укреплений, запутанная колючей проволокой, впереди которой рыскала кавалерийская разведка белых. Разведчики остановили поезд и сказали, чтобы на паровозе вывесили белый флаг. Мы въезжали в район, занятый Махно...

Передовая группа махновцев, видимо аванпост, поднявшись из окопов, остановила поезд. Они, как и белые, прошли вагоны, осмотрели вещи, проверили документы и отпустили нас, за исключением трех немцев.

– Сюда, хлопцы... это же из Розовки! Я их, тварей, всех знаю, – тащил из вагона трех немцев высокий худощавый махновец. – ...В разведочку приехали?.. А ну-ка, Крейцер, сознавайся, где сыновья? В карательном отряде? А помнишь, как я служил у тебя? Помнишь, как в красную гвардию записался? А помнишь, как ты и сыновья привели карательный отряд и хату мне сожгли?

...Немец только пожимал плечами и плакал.

– Скидай, скидай одежду, видишь – люди голые – да живее поворачивайся! – проговорил командир. – А ну, хлопцы, в штаб атамана Духонина их! – отдал он распоряжение и, повернувшись, приказал машинисту отправляться.

Я видел, как их кололи штыками, как они, падая, бежали от полотна в поле, как махновцы снова нагоняли их и снова кололи...» (6, 198–199).

Возле семафора поезд остановился. Белаш вышел из вагона поразмять ноги и оторопел: «Целая стая собак, походивших на волков, грызлась между собою в стороне от полотна, в глинистых карьерах. Одна из них силилась перетащить что-то через рельсы. Приблизившись, я с ужасом увидел, что это была человеческая нога в сапоге...

С полотна ясно было видно дно карьера. Самая большая собака сидела на задних лапах и как бы охраняла груды трупов, которых, как мы после узнали, было двести. Десятка два собак, поменьше ростом, усевшись кольцом в отдалении, визжали, как бы упрасывая главаря допустить и их. Но тот огрызался. Наконец, это ему, видимо, надоело. Он стал на ноги, прошелся по трупам, выбрал себе по вкусу, отошел в сторону. Остальные собаки бросились к трупам и начали их терзать.

У меня не хватило сил смотреть на это. Я бросил в собак камень. Все они, как по команде, громко завывали... Собаки озверели, приобрели волчьи наклонности...

А люди, – подумал я, – чем лучше волков?

Враждующие лагеря истребляли друг друга, истязали взятых в плен... Если то был махновец, его белые поджаривали, т. е. сжигали на кострах, или после пыток вешали на столбах. Если это был белый – махновцы рубили его на мелкие куски саблями или кололи штыками, оставляя труп собакам» (6, 199).

Обе стороны берегли патроны.

Позиция, на которую прибыл Белаш, была занята отрядом из его родной деревни, Новоспасовки. Всего было 700 человек, которыми командовал Василий Куриленко – впо-

следствии один из лучших махновских командиров, которого красные в 1919 году почти уже переманили к себе, но все-таки спесью своей и подозрительностью оттолкнули. Куриленко объяснил Белашу суть дела: минувшей ночью белые пытались отнять у махновцев узловую станцию Цареконстантиновку, но были разбиты и бежали, оставив 200 человек в плену на верную гибель. «Поделившись новостями, – вспоминает Белаш, – мы зашли в штаб и сели за стол, на котором появился украинский борщ и полдюжины бутылок австрийского рома» (6, 200).

Вскоре Белашу предстояло поближе познакомиться со всеми махновскими командирами. Попытав его о жизни и о судьбе, Махно решил ему доверить организовать фронтовой съезд: военная обстановка требовала согласованности действий, а с этим как раз было туго – многие партизаны действовали сами по себе, соседей не знали, повстанческому штабу подчинялись в принципе, но на деле не очень. А между тем пошли бои, в которых промашка могла дорого стоить. Белаш поехал объезжать отряды, улаживать «батьков» прислать делегатов на съезд.

В Пологах он обнаружил собранный из трех деревень отряд в 700 человек, «наполовину вооруженных самодельными пиками, вилами и крючками. У другой половины были винтовки, обрезы и дробовые ружья. Обладатели их считались счастливыми людьми, хотя патронов на винтовку было не более пятидесяти» (6, 215). Собрание командиров явило собой еще более экзотическую картину: «Большинство из них было в немецких дорогах шубах, каракулевых шапках, хромовых сапогах. Но были и победнее. Одни имели по два-три револьвера, торчащих за поясом, а другие носили на ремне тяжелые берданки или дробовики...» (6, 216).

Наконец, под Ореховом предстала глазам Белаша картина совсем уже странная: от нее прет дремучим средневековьем, разбойничьим ужасом. Вот представьте себе: ночь. Костер. Вокруг костра кольцом – человек двести.

«В середине носился в присядку плотный мужчина средних лет. Длинные черные волосы свисали на плечи, падали на глаза. – „Рассыпались лимоны по чистому полю, убирайтесь, кадеты, дайте нам во-о-оллю!“ – выкрикивал он.

– Это наш батька Дерменджи, – объяснил нам один из повстанцев.

Вдруг на позиции затрещали пулеметы и винтовки. Два верховых скакали во весь карьер и кричали:

– Немцы наступают!

«Батько» крикнул:

– Ну, сынки, собирайся...

– На фронт, на фронт с гармошкой! – заревела толпа. И они, спотыкаясь и спеша, вразброд побежали на позицию» (6, 217).

Дерменджи был человек известный: участвовал в восстании на броненосце «Потемкин»; тухлой говядиной спровоцированная революционность развилась у него аж до бесовства. Но кругом еще вертелись отрядики личностей никому не известных: Зверева, Коляды, Паталахи, батьки-Правды. Последнего Белаш видел: оказался безногий инвалид, который, въехав в село на тачанке, собрал людей и половиной тулова своего заорал:

– Слушайте, дядькі Будемо сидіти на вашій шиї до того часу, поки ви нас як слід не напоїте! (6, 217).

За правдивое слово Белаш чуть было не расстрелял партизана, но, приглядевшись, оставил. Антонов-Овсеенко в своих «Записках» дважды вспоминает его. Первый раз батько-Правда сильно напугал власти, появившись в окрестностях городка Орехова с «анархистской бандой», к которой присоединился и посланный для расправы с бандитами кавалерийский отряд. Потом вроде бы выяснилось, что никакого мятежа не было, отряд просто шел на отдых. Но тем не менее сильно укороченная тень батьки-Правды пала и на Махно. У

Махно Антонов-Овсеенко и встретил батьку-Правду во второй раз и в записке предсовнаркому Украины Раковскому так его характеризовал: «Правда – безногий калека, организатор боевых частей, не бандит...» (1, т. 4, 117). Может быть, оно и так, но сдается, здесь все-таки преувеличение: Антонов-Овсеенко был романтик, это часто подводит политика.

Третьего января в Пологах открылся фронтовой съезд, на который приехало более 40 делегатов от разных частей. Резко выступал Белаш: «Следует положить конец батьковщине и разгильдяйству и все мелкие и крупные отряды реорганизовать в полки, придать им обоз, лазарет и снабжение» (6, 219). На этом же съезде Белаш был избран начальником штаба.

Оперативная обстановка к тому времени сложилась следующая:

«...Махновский южный участок, расстоянием в 150 верст, защищался пятью полками, с общей численностью бойцов – 6200 человек, наполовину безоружных. Против них стоял противник: со стороны г. Александровска – до 2000 петлюровцев, со стороны Попово – Блюменталь – Новомихеевка – егерская бригада (из немцев-колонистов) в 3000 человек и немецкие отряды, насчитывавшие свыше 2000 чел., со стороны В. Токмака – белогвардейские части... до 4500 чел.» (6, 220–221).

Нехватка оружия сказывалась роковым образом. Бой с немцами у колонии Блюменталь махновцы проиграли, и, хотя колонию разорили и сожгли, радости от этого не прибавилось. Махно был взбешен, раздавлен. Белаш вспоминает жуткий эпизод, случившийся после боя на станции Орехово:

«...Поезд Махно стоял у перрона и у паровоза столпился народ. Махно кричал:

– В топку его, черта патлатого!

Мы подошли и увидели: Щусь, Лютый и Лепетченко возились на паровозе со священником – бородатым стариком. Его одежда была изорвана в клочья, он стоял на коленях у топки... Вдруг Щусь открыл дверцы и обратился к нему:

– Ну, водолаз, пугаешь адом крошечным на том свете, так полезай в него на этом!..

Все стихли... Священник защищался, но дюжие руки схватили его... Вот скрылась в дверцах голова, затрепетали руки... Момент – скрылись и ноги. Черный дым повалил из трубы, пахло гарью. Толпа, молча сплевывая, отходила в сторону.

Оказалось, что на станции поп агитировал повстанцев прекратить войну с немцами во имя Бога и гуманности. Он страшил раненых, что, если они его не послушают, будут гореть в аду. Об этом сказали Махно, который распорядился сжечь его на паровозе на виду у всех...» (6, 218).

В топку – во имя Бога и гуманности! Воистину, святой мученик, ты до конца прошел путь своей веры!

Наступление белых, численно превосходящих махновцев и прекрасно вооруженных, было неотвратимо. К концу января они оказались в самом эпицентре махновщины, заняли Гришино, Гайчур, Гуляй-Поле. Повстанцы пятились, пятась, у петлюровцев взяли Александровск, вооружались вилами и пиками. Но Махно, похоже, понял, что без большевиков ему в этой борьбе не выстоять. Поэтому он посылает в Харьков Чубенко с наказом разыскать Дыбенку и заключить союз. 28 января Чубенко позвонил в штаб и сообщил, что договорился об условиях соглашения. Что именно было сказано в ходе этой встречи, мы не знаем, но когда месяц спустя красные, наконец, «расчистили» дорогу к Махно, подразумевалось, что внутренняя жизнь Повстанческой армии (добровольчество, выборность командного состава и пр.) остается неизменной, что махновцы примут комиссаров-коммунистов, что армия не будет переброшена с противоденикинского фронта, станет подчиняться высшему красному командованию в оперативном отношении и, наконец, главное: сохраняя свои черные знамена, она будет получать военное снаряжение наравне с частями Красной армии. Аршинов замечает, что в «центре» Махно был известен лишь как отважный повстанец, о котором время от времени мелькали восторженные сообщения в газетах, поэтому никто не сомне-

вался в том, что повстанческие отряды немедленно вольются в Красную армию. Так оно формально и произошло: отряды Махно как отдельная пехотная бригада были приписаны к Заднепровской дивизии, которой командовал Дыбенко. Но хотя Махно и считался отныне красным комбригом, действовал он по-прежнему абсолютно самостоятельно, ибо, честно говоря, ни направлять, ни контролировать его действия долгое время было просто некому. Он, правда, повидался с Дыбенко: партизанский батько и красный комдив сфотографировались на фоне эшелона. Возможно, того, в котором Махно спал: после Бутырок он боялся больших помещений. Дыбенко, с папироской в руке, на целую голову возвышающийся над Махно, несмотря на его папаху, на снимке смотрится покровителем, старшим братом-большевиком. И лишь упрямый, своенравный взгляд Махно свидетельствует, что он не запрашивался под высокое покровительство. Он вел свою игру.

Посланцев Махно в Харькове приняли очень тепло. Белаш говорил с заместителем Антонова-Овсеенко, тот передал привет повстанцам и заверил, что в поддержку Махно посланы уже оружие, полк пехоты и бронепоезд «Спартак».

В Харькове Белаш наведлся также в анархистскую федерацию «Набат» – самую влиятельную после разгрома анархистов в Москве и Петрограде, где и «доложил о махновщине». Интерес был несомненный. Четыре человека, захватив с собой литературу, выразили готовность ехать с ним и работать у Махно. Кроме того, Белаш передал письмо батьки в Москву Аршинову – с приглашением приехать.

В самом конце января повстанцами было – буквально штыковыми атаками – отбито Гуляй-Поле. «Сколько радости было у женщин при встрече со своими, – пишет Белаш, – сколько слез и объятий в Гуляй-Поле при нашем появлении!» (6, 225). К февралю у Махно было уже несколько десятков тысяч человек: огромное количество крестьян, мобилизованных деникинским генералом Май-Маевским и им вооруженных, переходили линию фронта и сдавались повстанцам.

С военной точки зрения события на повстанческом фронте с января по апрель 1919 года ничем особенным не примечательны: партизаны постепенно пробивались к берегу Азовского моря и стали отжимать белых на Таганрог. В Бердянске, который сразу же после ухода немцев был наводнен «чистой» публикой, Махно не ждали. Напрасно офицеры, знакомые с партизанами, предупреждали, что это – враг сильный и лукавый. Молодежь только смеялась в ответ: «мы – регулярные войска, а махновцы – сброд, ничего не понимающий в войне» (74, 42). Когда же вдруг выяснилось, что город то ли сегодня, то ли завтра будет взят, то обнаружилось, что защищать его некому, ничего к обороне не готово. Военный губернатор Бердянска по баснословным ценам продавал «своим» билеты на пароход, остальные были брошены на произвол судьбы. Бедные жители города отправились на вокзал встречать махновцев. «Они вступили в город в 6 часов вечера, а вечером все мужчины гуляй-польцы, сбежавшие из села, были схвачены и вскоре убиты», – вспоминает Наталья Сухогорская (74, 43). На морском берегу расстреливали не успевших бежать офицеров и мальчишек-юнкеров. По поводу Бердянска советские историки расписывали потом поистине людоедские подробности, которые, несомненно, были плодом их не в меру рьяного воображения. Сообщалось, например, что Калашников, командир 7-го полка махновской бригады, сам пытал пленных и *выкалывал им вилками* глаза (32, 4).

Советскими историками жестокость партизан, как правило, преувеличивается, чтобы подчеркнуть их отличие от кадровых, «чистых» красноармейских частей. Но тут возникают новые недоразумения. В книге В. Коми́на «Нестор Махно: мифы и реальность» я прочитал сильно озадачивающую фразу. Рассказывая о назначении Махно комбригом, автор дословно пишет следующее: «Казалось бы, войско Махно выполнило свою задачу и, войдя в состав Красной Армии, должно было раствориться в ней» (34, 26). В чем, простите? Никакой Красной армии на Украине не было в это время. Или, вернее, махновцы и были Красной армией,

вместе с григорьевцами, морячками Дыбенко и т. д. Здесь нет ни словесной игры, ни преувеличения: регулярная армия только еще начинала создаваться, и Антонов-Овсеенко без колебания использовал в своих целях уже сложившиеся формирования – так было с «армией» Махно, так было с бывшей петлюровской дивизией Григорьева, отрядами Щорса, Боженко и иже с ними. И когда Бунин в «Окаянных днях» описывает кривоногих красноармейцев, лузгающих семечки в разгромленной Одессе, надо понимать, что это григорьевцы, которые и брали город.

Никаких других войск, в которых могла бы благоразумно «раствориться» махновская бригада, не было: лишь к лету 1919 года удалось сформировать, дисциплинировать и вооружить некоторое количество регулярных частей, столь милых сердцу Троцкого, который ненавидел партизан за их смутный небольшевизм, претензии участвовать в политике и иные амбиции. Искоренение партизанчества на Украине – история, полная загадок и драматизма, никем еще, к сожалению, не написанная.

Переговоры между атаманом Григорьевым и Антоновым-Овсеенко состоялись в Харькове 18 февраля. «Низкорослый, – писал о собеседнике Антонов, – коренастый, круглоголовый, с почти бритым упрямым черепом, серым лицом. Одет в тужурку военного покроя и штатские брюки на выпуск. Хотя Григорьев на вид невзрачен, но чувствуется, что он себе на уме и властен. Он болтлив и хвастлив. Яркими красками расписывает свои „победы“, говорит, что у него 26 отрядов, в которых будто бы 15 тысяч человек» (1, т. 3, 166). К слову сказать, преувеличения в этих словах не было.

Никифор Григорьев был честолюбцем. Закончив мировую войну в чине штабс-капитана, он служил сначала гетману, потом Петлюре, потом решил испробовать себя в роли народного вождя. Пресса того времени характеризовала его так: «Григорьев производит впечатление человека бесстрашного, с огромной энергией, крестьянского бунтаря, чрезвычайно внимательного к крестьянству, с огромной любовью к людям земли. Среди крестьян Григорьев популярен. К горожанам относится скептически. На фронте решителен и бесстрашен, огромной работоспособности, с дезертирами и грабителями жесток. Штаб Григорьева состоит из украинских левых с.-р. (начальник штаба Тютюник), так же как и командный состав» (40, 65–64).

Григорьев, как и Махно, был назначен красным комбригом. Поначалу ему не очень-то доверяли, предполагалось честолюбивого комбрига использовать где-нибудь на вторых ролях, и Григорьев не проявлял себя, понимая, что к нему присматриваются. «Секретный сотрудник», приставленный к штабу григорьевской бригады, сообщал в целом утешительные сведения: «Пока ничего особенно подозрительного. Пьянство, грабеж, отдельные левоэсеровские выпады...» (1, т. 3, 176). Антонову-Овсеенко представлялось возможным, окружив Григорьева верными людьми и наводнив части политкомов, превратить его бригаду в первосортную красноармейскую часть. Однако после того как штаб Григорьева посетил командарм-2 Анатолий Скачко, отношение изменилось к худшему, промелькнуло даже словечко: «ликвидировать». Скачко не застал Григорьева, ибо тот, узнав о визите начальства, уехал на фронт. Гость был удручен: «Я нашел вместо штаба грязный вагон и кучу неорганизованных бандитов. Никаких признаков начинающих организаций. Цистерна спирта, из которой пьет всякий. Сотни две-три полупьяных солдат. Пятьсот вагонов, груженных всяким добром – спирт, бензин, сахар, сукно. Эти вагоны упорно не желают разгружать... Мое впечатление – Григорьеву доверять нельзя. Необходимо ликвидировать... Считать отряды Григорьева нашими войсками и полагаться на них нахожу невозможным...» (1, т. 3, 223).

Однако уже через две недели Скачко радикально изменил свою точку зрения, чему причиной были крупные военные победы, одержанные войсками Григорьева. 8 марта, после трехдневной артиллерийской дуэли, Григорьев взял занятый греками и французами Херсон. 13 марта, приняв ультиматум Григорьева, союзники и добровольцы оставили Николаев.

Скачко вынужден был засвидетельствовать, что в городе григорьевцы вели себя образцово: «Сам атаман, застрелив жожака-матроса, предотвратил грозивший погром» (1, т. 3, 230). В начале апреля начался штурм Одессы. Григорьев извещал товарищей-партизан: «Обкладываем Одессу и скоро возьмем ее. Приглашаю всех товарищей-партизан приезжать на торжество в Одессу» (1, т. 3, 244).

Антонов-Овсеенко был против того, чтобы Одесса досталась Григорьеву: он чувствовал, что речь не идет о чисто военной победе, что в нее вкладывается определенный политический смысл. За Григорьевым волочился длинный левоэсеровский хвост. В Херсоне, например, левые эсеры составили большинство на съезде Советов, обставили большевиков и долго ругались с ними, кого избрать почетным председателем съезда – Ленина или Спиридонову? В Николаеве съезд левых эсеров вынес резолюцию «сделать отряд Григорьева центром военных сил под флагом партии» (1, т. 4, 69). Стоя под Одессой, Григорьев не принимал посланцев от подпольщиков-большевиков и всю связь держал через левых эсеров.

Антонов-Овсеенко всерьез подумывал сменить Григорьева под предлогом болезни или перебросить его войска под Очаков. Но Григорьев уже перехватил инициативу. После двухнедельного штурма его войска ворвались в Одессу. Столь крупная победа не могла остаться незамеченной. Предсовнаркома Украины послал Антонову-Овсеенко ликующее приветствие, в котором указывалось, что победители Одессы имеют перед собой новые, мирового масштаба перспективы: помощь восставшей Бессарабии, Галиции, Венгрии. «Вперед, вперед, всегда вперед!» – звал Раковский к мировой революции. Однако за такое дело, как взятие Одессы и отражение готовящегося десанта французов, Григорьева следовало каким-то образом поощрить, обмен победными телеграммами был наградой явно недостаточной. Командарм Скачко предложил было представить Григорьева к высшей боевой награде Страны Советов – ордену Красного Знамени. В победной реляции он докладывал: «Одессу взяли исключительно войска Григорьева... В двухнедельных непрерывных боях бойцы показали выносливость и выдающуюся революционную стойкость, а их командиры – храбрость и военный талант... Прошу товарища Григорьева, который лично показал пример мужества в боях на передовых линиях, под ним было убито два коня и одежда прострелена в нескольких местах, и который добился победы над сильным врагом, наградить орденом Красного Знамени» (33,3).

Антонов-Овсеенко, возможно, разделял всеобщее ликование по поводу взятия Одессы, но он, по крайней мере, знал, чего стоила эта победа: «Полураздетые, полубосые и порой полуголодные, эти войска поистине заставляют удивляться тому самоотвержению, с которым они выполняли свою боевую работу» (1, т. 4, 329). Свой орден Григорьев, без сомнения, так и не получил. Что-то страшное стояло за всей его фигурой. В заповеднике Аскания-Нова красноармейцы Григорьева резали и жрали бизонов, чем вызвали даже недоуменное недовольство предсовнаркома Украины: как можно? Это что – армия революции? Неудивительно: за исключением Антонова-Овсеенко, никто из большевистских вождей фронтовиков не знал – их боялись, никто не представлял себе, что такое голодная армия, подвязанные веревками подметки сапог и атаки с одной винтовкой на троих. В тылу медленно создавались новые, более или менее благонадежные формирования, а на фронтах дрались партизаны, сорвиголовы, деревенские драчуны, дрались без жалости и пощады к себе и к врагам. Город для них был добычей, отдыхом, сном. Тыл, тыловики – и большевики именно как тыловики – раздражали их недоверием, непрерывными проверками на политическую благонадежность.

Григорьев отличался составлением необычайно длинных, страстных телеграмм: одним из приказов ему даже настрого вменялось «прекратить изнасилование телеграфа» (1, т. 3, 243). После очередной порции подозрений и недовольств Григорьев телеграфировал на фронт: «Заявляю, что нужно быть железным человеком, чтобы проглотить те оскорбле-

ния, которые наносит мне центр... Здесь у меня при штабе полит-инспекция Реввоенсовета харьковского направления – уже восемь, а политком бригады дней десять, а вчера прибыла комиссия во главе с товарищем Эго. Вот их и спросите обо всем...» (1, т. 3, 229). Центр слал на фронт инспекции и агитаторов, но практическая помощь была минимальная. Между тем, взяв Одессу, Григорьев все более входил в роль политика. Он потребовал войскам трофеев, отправив телеграмму непосредственно Раковскому: «Одессу взяли крестьяне 52 волостей, которые составляют мой кадр... Мануфактуры хватит на всю Украину. Крестьяне, что лили кровь под Одессой, просят дать мануфактуру всем деревням по твердым ценам. У нас в деревнях женщины шьют платья из мешков. Убедительно прошу всю мануфактуру направить немедленно крестьянам Украины. Эти крестьяне, когда их земляки и жены засеивали поля, брали штурмом укрепленную проволокой позицию. Под городом Одессой есть села, которые дали по 800 бойцов. Одессе дайте хлеба. Атаман Григорьев» (1, т. 4, 73). Нет сомнения, что при таких настроениях атамана награждение орденом Красного Знамени только усилило бы его разгулявшиеся политические амбиции, которые, напротив, надо было как-то утихомирить.

Мануфактуру обещали дать. Оставалось решить, что делать с пятнадцатью тысячами вооруженных красноармейцев, которые, сделав свое боевое дело, довольно быстро начали проявлять признаки агрессивности и недовольства (недаром ведь григорьевский мятеж начался с безобразий отдельных частей на узловых станциях, когда войска были двинуты на отдых домой). А тут еще и сам Григорьев стал выказывать раздражение и глубочайшее разочарование в деле, которому служил. Поближе узнав представителей новой власти, которая следовала по пятам его армии, он с брезгливостью военного человека отстучал Раковскому: «Если вслед за мною будет вырастать такая паршивая власть, которую я видел до настоящего времени, я, атаман Григорьев, отказываюсь воевать. Заберите мальчиков, пошлите их в школу, дайте народу солидную власть, которую бы он уважал» (33, 31). С Григорьевым срочно нужно было что-то делать...

16 апреля атаман получил повышение и был назначен командиром 6-й украинской стрелковой дивизии. Одновременно, с одобрения ЦК и Совнаркома Украины, решено было изнутри овладеть отрядами Григорьева, а его самого устранить «секретным образом» (1, т. 4, 75). Войска же пока надо было «задействовать», ввязать в бой, и здесь представлялось два плана – бросить их дальше на запад, в помощь восставшей Венгрии, или перекинуть на восток, в подмогу Махно, который, продвинувшись было вперед, на линии Волноваха—Мариуполь завяз в затяжных боях с белыми. Трудно себе представить, какой силы гремучая смесь образовалась бы, случись этому последнему плану осуществиться. Но события, как всегда, развивались своим чередом.

Пока надо подчеркнуть лишь одно: бригада Махно никоим образом не выделялась в худшую сторону в строю других частей Красной украинской армии, все были примерно одинаковы, и даже если оставить в стороне григорьевцев, которых можно при большом желании упрекнуть в партизанщине и погромных настроениях, то и другие окажутся не лучше.

К примеру, Антонов-Овсеенко следующим образом характеризует полк имени Тараса Шевченко, смотр которого состоялся в начале марта в Полтаве: «Полк имени Тараса Григорьевича Шевченко состоит из политически темных крестьян-повстанцев. Командир полка тов. Живодеров, человек грубый и политически безграмотный (моряк в кожаной куртке, бородатый и увешанный оружием). Настроение полка бодрое, революционное, но недружелюбное в отношении евреев» (1, т. 3, 188). Также и солдаты 1-го ударного Таврического партизанского полка по поводу евреев высказывались совершенно определенно, что «в их принципе не оставлять по своему пройденному пути немцев-колонистов и евреев» (1, т. 4, 104). О военных навыках тогдашних красноармейцев свидетельствует доклад об организации артиллерийского дела в Харьковской группе войск инспектора артиллерии Лаппо –

документ более чем красноречивый: «Командный состав (красные офицеры) совершенно стрелять не умеют, люди не обучены, материальная часть не в порядке... Когда я обратил внимание штаба на это явление, то один из высших чинов заявил мне, что им важно дать пехоте моральную поддержку, звуковой эффект выстрела, а потому орудие может стрелять и без панорамы... Орудиями пользуются как пулеметами, полки таскают их за собой, препятствуя тем самым сводить их в правильные боевые единицы» (1, т. 4, 125).

О нравах красноармейцев можно было бы особо и не говорить, достаточно вспомнить «Конармию» Бабеля, но, убедительности ради, приведу все ж отрывок из «Очерков русской смуты» А. И. Деникина, где он описывает развлечения самого что ни на есть ядра кадровых красных сил: моряков и красноармейцев Дыбенко.

«...Забравшись в храм (в Спасовом скиту) под предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с приехавшими с ними любовницами ходили по храму в шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса Христа и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царских врат, разорвав его на части, церковные одежды, подризники, платки для утирания губ причащающихся, опрокинули Престол, пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из притворов храма были обнаружены экскременты» (17, 126).

О, особое сладострастие разрушителя – нагадить в храме, искорять росписи и фрески скверными матерными словами! Поражает именно единодушие, с которым революционный народ отвернулся от своих учителей и стал сжигать проповедников в топках, а храмы превращать в отхожее место. И для того, чтобы уяснить почему, недостаточно ироничной усмешки Бориса Савинкова, экс-террориста и народолюбца: «народ-богоносец надул...» Тут трагедия: когда рухнуло царство, народ не заплакал, а принялся драться и пировать на его обломках. И кто скажет, чья в той беде вина?

Несмотря на родственность в отношении к «старому миру», между махновцами и большевиками довольно скоро обнаружились и явные противоречия. Во-первых, в занятом ими районе махновцы не давали забирать хлеб, гоняя прод-агентов со своей территории, а во-вторых, они начали строить какую-то свою советскую власть, именно тем особенно для большевиков неприятную, что власть была советская, но не партийная. За зиму и весну 1919-го в «вольном районе» прошло три съезда Советов, решениями которых и определялась здесь вся жизнь. Первый съезд был экстренно созван в январе, во время наступления белых и петлюровцев. Поскольку красных еще в районе не было, да и вопросы обсуждались сугубо практические – как армию кормить, вооружать и во что одевать, – он у большевиков беспокойства не вызвал. Но второй, случившийся 12 февраля, заставил насторожиться. Дело не в том, конечно, что была объявлена «добровольная мобилизация» в Повстанческую армию, а в том, что собрание ребром поставило ряд политических вопросов – например, выразило недоверие правительству советской Украины, которое крестьяне «не избирали», и высказалось за полную самостоятельность Советов на местах. Получалось, что, признавая советскую власть, крестьяне 350 махновских волостей отказывались признавать над собою власть харьковского правительства, но зато признавали какой-то Военно-революционный совет, который тут же и избрали.

При этом гуляй-польский съезд был обставлен со всей серьезностью, как и «настоящий» большевистский съезд Советов: знамена, Марсельеза, гости от большевиков и от товарищей-матросов, более двухсот делегатов. Махно присутствовал на съезде, но, ввиду сложной обстановки на фронте, председательствовать отказался. Его назначили почетным председателем, а руководить стал Борис Веретельников, путиловский рабочий родом с Левобережья, который сразу же в докладе о текущем моменте поведал, как ездил в Россию, надеясь найти там свободу и духовный простор, но нашел лишь «полный разгул угнетения, тяжелой зависимости рабочих и крестьян от начальства свыше» (65, 12).

Антибольшевистская линия на съезде просматривалась совершенно отчетливо. Избранный председателем Военно-революционного совета сельский учитель Чернокужский высказался со всей резкостью: «Теперь, когда после жестокой, упорной борьбы... неприятель разбит и трудовой народ Украины может вздохнуть свободно, – к нам появляется какое-то большевистское Правительство и навязывает свою партийную диктатуру» (65, 6). Товарищ Черняк, анархист из «Набата», прояснил ситуацию: «Мы знаем, что среди большевиков есть много честных революционеров... Но мы уверены, что эти люди не отдавали бы свои жизни, если бы они знали, что известная кучка людей захватит в свои руки власть и будет угнетать целый народ» (65, 17). И даже выступавшие от имени большевиков Херсонский и Карпенко признали узурпацию власти одной партией позорной и недопустимой. Брошюра с резолюциями съезда, изданная в Гуляй-Поле, заканчивается лозунгами: «Долой комиссаро-державие и назначенцев!», «Долой чрезвычайки – современные охранки!», «Да здравствуют свободно-избранные Рабоче-Крестьянские Советы!» (65, 25).

В деревне и на фронте махновцы оставались хозяевами положения, но сопротивляться утверждению новой большевистской власти у себя в тылу, в городах, они не могли. Происходило то же, что и с Григорьевым: вслед за партизанами шли партработники, устанавливая свои порядки. В захваченном махновцами Бердянске установилось фактическое двоевластие. С одной стороны, в городе был военный комендант – посланный к Махно комиссаром Озеров, то ли большевик, то ли левый эсер, человек крутого нрава, с военным прошлым и раздробленной правой конечностью, в которой, однако ж, он умудрялся крепко держать нагайку, при помощи которой наводил порядок среди своих солдат, срывающихся с фронта «на отдых», чтобы вволю попить благоухающего дорогого вина, которым полны были погреба города. С другой стороны, власть в Бердянске держал большевистский ревком, едва ли не половину забот которого составляло договориться с анархистами, которые прибились к Махно и не гнушались проводить время в питии и веселии.

Функцию переговоров взял на себя Степан Дыбец, в тридцатые годы начальник советского главка автомобильной и тракторной промышленности, но тогда, в 1919-м, – неопит большевизма, недавно только перекрасившийся в коммунисты из анархо-синдикалистов. Как человек, причастный к анархизму, он и вел переговоры с Махно и его окружением.

Писатель Александр Бек записал беседу с Дыбцом, когда тот уже был одним из воров советской тяжелой индустрии, и здесь интересно мнение хозяйственника о политическом лице Махно: «...Толкуя о будущем, он обнаруживал полное невежество, особенно в таких вопросах, как экономика, промышленность. Знал лишь, что завод – это такая вещь, которая должна выпускать изделия, а во всем остальном – откуда брать сырье, каким образом осуществлять хозяйственные связи, хозяйственный план – оставался совершенно темным. Повторял свое: „Коммуна“» (5, 46).

Дыбец, конечно, Махно окарикатурил: у идейных анархистов были свои представления о том, как в безвластном обществе должна развиваться промышленность – сейчас бы это описывалось формулой хозрасчета. Но он прав в другом: ни о какой хозяйственной политике тогда и речи не было, город грабили и махновцы, и большевики, и вопрос был только в том, кто больше ухватит и куда отвезут награбленное – в Гуляй-Поле или в Москву.

Когда, например, ревкому потребовались деньги для скупки хлеба у крестьян, на буржуазию наложили контрибуцию. Дыбец собрал биржевиков и сказал:

«Городу нужны деньги. Необходимо в город подвозить хлеб. У нас нет денег. Если сбором контрибуции займется Махно, то несколько человек будут расстреляны совершенно зря. В наши планы не входит расстреливать людей... Мне трудно знать, насколько состоятелен тот или иной гражданин, а вы, биржевики, всех знаете. Составьте мне списочек, с кого сколько можно взять. Я полагаюсь на ваше благоразумие. Если вы этой работы не продела-

ете, мы ее сделаем сами, но, конечно, с ошибками. А если передадим Махно, то вам совсем плохо придется...» (5, 59).

Отношения махновцев с большевиками строились по принципу, кто кого переиграет. К примеру, Махно в полном составе отправил на фронт осточертевшую ему бердянскую ЧК. Ревком тут же стал запугивать обывателя махновской контрразведкой, о которой ходили самые ужасные слухи. Махновские части повадились «отдыхать» в город – ревком приказал вылить в море тридцать тысяч ведер прекрасного вина, чтобы отвести их от этого. Озеров просил начавшееся наступление подкрепить ударным батальоном ревкома – ревком не дал. Озеров просил коммунистов на фронт – ревком не дал ни одного человека, ссылаясь на то, что в махновских частях коммунистов якобы убивают.

И, уж конечно, ничто так не характеризует любовные отношения партнеров, как история с кожей. Как о большом достижении С. Дыбец рассказывал А. Беку о том, как ревком отыграл у махновцев несколько вагонов кожи, конфискованной у спекулянтов Бердянска. Махновцы, отспорив себе двенадцать вагонов из двадцати, потребовали отправить кожу в Гуляй-Поле, но Дыбец, дав загрузить вагоны, договорился, что на узловой станции Пологи вагоны с кожей будут прицеплены к любому поезду, идущему в Москву. Махновцы не догадались послать с грузом сопровождающих, и кожа от них ускользнула. После этого «пропавшая кожа», как символ неорганизованности и безалаберности махновцев, стала прекрасным аргументом в устах большевиков. Чуть что, ввертывалось:

«– А кожа?

...Когда у нас опять пытались отобрать какие-нибудь запасы, мы неизменно отвечали: – Ну, это опять – кожа. Лучше мы сами вас снабдим» (5, 58).

К несчастью, все эти мерзости взаимного надувательства не одной только кожи касались. «Союзнички» словно забыли, что в нескольких десятках километров от них проходит фронт, который держали ни в какой высокой политике не замешанные крестьяне, «добровольно мобилизованные», чтобы защищать свои очаги. Мы еще увидим, как дорого заплатят они за амбиции партийных «верхов». А амбиции, безусловно, были. Прежде всего – власть. Следуя за партизанами, большевики практически даром получали власть в свои руки.

А на украинских фронтах до середины 1919 года большевики могли рассчитывать только на крестьян-повстанцев. Ставка Антонова-Овсеенко на партизанские отряды в Москве, конечно, казалась сомнительной, но на Украине она приносила зримые плоды. Отбитые Григорьевым крупнейшие черноморские порты и красавица-Одесса говорили сами за себя. Бригада Махно тоже не стояла на месте: 15 марта был взят Бердянск, 17-го – Волноваха, 27-го – Мариуполь. Под ударами махновцев стал рушиться весь левый фланг добровольцев-деникинцев, а главное, было перерезано снабжение Добрармии оружием. Ситуация на фронте решительным образом обернулась в пользу красных. За взятие Мариуполя комбриг Махно, который не имел той сомнительной славы честолобца и авантюриста, которая волочилась за Григорьевым, был, в свою очередь, награжден орденом Красного Знамени. Это была, повторим, высшая награда того времени, поскольку в обычных случаях героев-красноармейцев из-за отсутствия официальных революционных медалей и орденов награждали золотыми часами, портсигарами и даже «золотыми перстнями с камнями и обручальными кольцами, реквизированными у буржуазии». Так что «Красное Знамя» вручалось только знаковым фигурам, «внесшим исключительный вклад в дело борьбы с контрреволюцией и белогвардейцами» (33, 2). Сегодня все специалисты по русской и советской наградной символике сходятся во мнении, что Махно достался орден под № 4. Правда, по официальным данным, этот орден получил председатель РВК Псковского уезда, видный большевик Ян Фабрициус. Однако в таком разночтении нет ничего удивительного. Официальный список первых кавалеров ордена Красного Знамени РСФСР с 1918 года неоднократно «корректировался», отдельные имена из него навсегда вымарывались, причем среди

«забытых» кавалеров ордена оказался не только анархист Махно, но и маршал В. К. Блюхер, попавший в мясорубку сталинских репрессий, которому принадлежал орден Красного Знамени № 1, и расстрелянный в 1921 году командарм Второй конной армии Ф. К. Миронов, кавалер ордена № 3, который в «официальном» списке приписан И. В. Сталину за оборону Царицына.

В. А. Антонов-Овсеенко в своих «Записках о гражданской войне» ни слова не пишет о награждении Махно орденом. Но оно и понятно – третий том, посвященный событиям, которые имеют непосредственное отношение к этому делу, вышел в 1933 году, когда всей официальной историей получение «бандитом» Махно ордена категорически отрицалось. Да и мог ли бывший командующий Украинским фронтом, подозреваемый в «троцкизме» и, в конце концов, за «троцкизм» и расстрелянный, в 1933 году хотя бы фигурально «отобрать» орден у верноподданного Фабрициуса и «вернуть» его Махно? Разумеется нет. Сохранилась, правда, победная телеграмма П. Е. Дыбенко, в дивизию которого входила бригада Махно: «Заднепровская бригада взяла город Мариуполь, сломя сопротивление белогвардейцев и французской эскадры, при этом стойкость и мужество полков было несказанными. Захвачено более 4 млн. пудов угля и много воинского снаряжения. Комбриг Н. Махно и комполка В. Куриленко одними из первых в РСФСР награждены орденами Красного Знамени» (33,4). Представление к ордену Василия Куриленко вероятно, но вряд ли он его получил, не будучи все-таки «знаковой фигурой» революции. Подтверждала награждение Махно «Красным Знаменем» и его жена Галина Андреевна: «Нестор был действительно награжден орденом Красного Знамени, когда это случилось, я не помню, но орден помню очень хорошо, он был на длинном винте, его полагалось носить, проколов верхнюю одежду, но Нестор не надевал его никогда...» (33, 4). Впрочем, сохранилась известная фотография комбрига Махно с орденом на груди. Так что вопрос не в том, надевал Махно орден или не надевал. Загадкой остается, кто и когда осуществлял процедуру награждения. Мариуполь, как мы помним, был взят 27 марта. Вручить орден Махно мог бы сам комдив Дыбенко, но к тому времени, когда орден должен был быть доставлен из Москвы, он прочно застрял в Крыму. 29 апреля 1919 года Гуляй-Поле посетил командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко, в целом благожелательно настроенный к Махно. Не тогда ли и получил батька свой орден?

7мая 1919-го в Гуляй-Поле побывал уполномоченный Совета обороны, член большевистского ЦК Л. Б. Каменев. На встречу с ним Махно прибыл с фронта, причем как раз из Мариуполя. Здесь как будто таится вторая возможность награждения. Однако Каменев относился к Махно настороженно и тон его бесед с Махно очень подозрителен. Вряд ли после таких разговоров Лев Борисович вдруг пожаловал бы батьку орденом. А распространенная версия, что орден Нестору Ивановичу вручил в бронепоезде Клим Ворошилов 4 июня 1919 года, попросту не выдерживает никакой критики. 4 июня Махно уже был объявлен Троцким вне закона, и Ворошилов на бронепоезде был послан, чтобы захватить его. Причем Махно, сдаётся, сразу догадался об этом. Впрочем, да простит меня читатель, тут мы забежали непозволительно далеко вперед. До драматических событий лета 1919-го было еще далеко. Весной их ровным счетом ничего еще не предвещало.

Фронт трескается

В апреле 1919-го скорая победа над белыми казалась делом решенным. В Одессе и Херсоне добровольцы заодно с интервентами были биты, Дыбенко ломился в Крым, где готовился провозгласить Крымскую советскую социалистическую республику. Южному фронту и Махно был дан приказ наступать на Дон, при этом силы Южфронта должны были первым делом отбить Донбасс с его углем, а Махно – наступлением на Таганрог «подрезать» белых снизу. Выступая 1 апреля на пленуме Московского совета, Троцкий заверил аудиторию, что, «как только состояние рек и мостов позволит, – это дело ближайших же недель, а может быть, и дней, – Южный фронт станет свидетелем дальнейших решительных событий», которые представлялись ему в свете безусловного успеха (1, т. 4, 49–50).

Победа казалась не только возможной, но и неизбежной при том перевесе сил, который сложился в районе Донбасса – 40 тысяч красных штыков и 4,5 тысячи сабель против, соответственно, 12,5 тысячи штыков и 9 тысяч сабель у белых. Нужно было обладать холодной прозорливостью Ленина, чтобы не потерять от успехов чувства реальности и, более того, предчувствовать возможный крах крымской затеи, которая отвлекала много войск, но стратегически имела мало смысла. Ибо, как бы (по карте) ни казалось заманчивым выйти через Крым прямо в тыл деникинцам и прорваться на Кубань, сделать это реально нельзя было из-за господства на море флота союзников.

Ленин упрямо твердил о первоочередной задаче – взять Ростов. В этом направлении двигались Махно и соседняя с ним 13-я армия Южфронта – увь, не подпертые никакими резервами. Эта слабость и сама по себе могла бы оказаться губительной, но в довершение ко всему она была усугублена ошибкой и тактического, и политического свойства: в конце марта главнокомандующий Вацетис решил, исходя из общности задач, стоящих перед Махно и 13-й армией, передать Махно в подчинение Южному фронту – которым командовал тогда В. М. Гиттис – и таким образом оторвать его от Антонова-Овсеенко. Командование Южфронта украинских партизан не знало, они оставались для него элементом совершенно чуждым; таганрогское направление, где оперировал Махно, было для штаба фронта, располагавшегося в Купянске, глубочайшей и совершенно неведомой фронтовой периферией, и ничего, кроме вреда, от такого переподчинения, естественно, получиться не могло. Командовавший Украинским фронтом Антонов-Овсеенко это чувствовал и предупреждал ставку: «За дисциплинированность и боеспособность частей, отдаваемых мною Южфронту, не могу отвечать. Всякое отрывание их от нашего командования их будет разлагать» (1, т. 3, 215). Тем не менее части Махно были переподчинены.

До какой степени все это запутало боевую ситуацию, понять может, наверное, только военный человек. Будучи в подчинении Южфронта, Махно в то же время был подчиненным Дыбенко, который командовал Заднепровской дивизией, входящей во Вторую украинскую армию Скачко – то есть армию, находящуюся в ведении Украинского фронта. До середины апреля сведения о положении на фронтах Махно получал *только* из сводок Украинского фронта. «Свой» фронт нужной ему информации дать не мог. Снабжение не было организовано. Личные контакты – и те не были налажены новым начальством. И когда потребовалось «обревивизовать» бригаду Махно, поехал к нему не комюжфронтом В. М. Гиттис, а командукр В. А. Антонов-Овсеенко... Список этих несуразностей чрезвычайно длинен и заканчивается вполне логично – предложением члена Реввоенсовета Южного фронта Сокольникова просто-напросто «убрать» Махно в связи с рядом испытанных им поражений.

Всю эту скучноватую военную информацию нам необходимо знать, чтобы ясно понять ситуацию, которую наши историки безбожно перевирали, чтобы никто не мог ни проверить, ни понять, что Махно в 1919 году красным не изменял, фронта не открывал и предателем не

был, что предателем его сделали, именно сделали при помощи всех мощностей партийной пропаганды совершенно конкретные люди из числа большевиков, которым надо было отчитаться – почему проиграна война там, где, по их же словам, она должна была быть выиграна?

Дело складывалось следующим образом: в конце марта заняв Мариуполь, Махно стал нажимать на Таганрог, перерезал линию железной дороги и провалил начавшееся было наступление белых на Луганск. Он просил резервов для развития успеха, но поддержать «изнемогавшую бригаду» (выражение Антонова-Овсеенко) было нечем, войск не было в принципе – за что и спросилось потом с главкома Вацетиса, который считал Украинский фронт второстепенным и упрямо направлял все части другим фронтам. Дыбенко, который прежде мог помочь, теперь глубоко залез в Крым и сам требовал подкреплений.

8 апреля прилетела первая ласточка: генерал Шкуро ударил на стыке Махно и 13-й армии и, обратив в бегство части последней, опрокинул фронт. Скачко сообщал Антонову-Овсеенко по прямому проводу: «Волноваха взята противником, Мариуполь отрезан. Прорыв расширяется, у противника появилась уже пехота. Вся серьезность положения в том, что части 9-й дивизии бегут, и полки самовольно снялись с позиций у Волновахи и, угрожая комендантам станции оружием, приказали себя везти через Пологи в Гришино» (1, т. 4, 53). Тут, пожалуй, для нас важнее всего определенность донесения, что панически бежали красноармейцы, а не махновцы.

Антонов-Овсеенко подбадривал Скачко: «...силы Шкуро преувеличены вдвое». Скачко бесстрастно возражал: «Пять тысяч великолепной и дисциплинированной кавалерии из кубанцев и горцев, не поддающиеся политическому разложению. При летней погоде и в нашей степи одна пехота даже в четверном количестве справиться с такой кавалерией не может. Это аксиома начальной тактики» (1, т. 4, 55).

Антонов-Овсеенко против этого аргументов не имел, а посему запретил Скачко оправдываться и «упражняться в неврастеническом тоне» и велел, за неимением резервов, организовывать отряды из крестьян и рабочих, бежавших из Донбасса. 16 апреля Антонов получил телеграмму Ленина и Троцкого с категорическим требованием оказать всемерную и *немедленную* поддержку Донбассу и Южфронту вообще, так как вспыхнувшее в тылу Южфронта восстание донских станиц Вешенской и Казанской грозило развалить фронт и в дальнейшем принести еще более крупные неприятности. Главком Вацетис в том же ключе требовал форсировать наступление Махно на Таганрог, не зная (или не желая знать), что Махно *отступает* и поддержать его нечем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.